

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 47

1985



**Юрий ЯКОВЛЕВ**

**ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 47

Юрий ЯКОВЛЕВ

# ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1985

## Юрий ЯКОВЛЕВ

Юрий Яковлевич Яковлев родился в 1922 году в Ленинграде. После окончания школы был призван в армию. Участвовал в битве за Москву, был рядовым, зенитчиком. Будучи солдатом, активно сотрудничал во фронтовой газете «Тревога». Здесь были опубликованы его первые стихи.

После окончания войны окончил Литературный институт им. А. М. Горького и был принят в Союз писателей СССР.

Юрий Яковлев начинал свой творческий путь как поэт. На его стихах Николай Тихонов написал: «Был гусарский поэт Денис Давыдов, был флотский поэт Алексей Лебедев, пусть будет поэт-артиллерист Юрий Яковлев».

Перу поэта принадлежат десятки книг для детей и взрослых.

Но в 1959 году в творчестве поэта произошли большие перемены. Юрий Яковлев стал прозаиком. В журнале «Огонек» появляются его первые рассказы — «Мальчик с коньками», «Станция Мальчики», «Временный милец», «Всадник, скачущий над городом». В газете «Известия» печатаются рассказы Ю. Яковлева, среди них такие известные, как «Собирающий облака», «Рыцарь Вася», «Багульник», «Он убил мою собаку», «А Воробьев стекло не выбивал» и др.

Книги Юрия Яковлева не застаиваются на полках детских библиотек, а новые книги расходятся очень быстро. «Умка», «Зимородок», «Реликвия», «Жить нам суждено», «Разбуженный соловьями», «Был настоящим трубачом», «У человека должна быть собака», «Тайна Фенимора», «Автопортрет», «Лев ушел из дома», «Дорога в Сокольники» — далеко не полный перечень книг писателя.

Недавно вышли избранные произведения Юрия Яковлева в двух томах.

Писатель активно работает в кино. Широко известны его фильмы «Красавица», «Пушик едет в Прагу», «Зимородок», «Мы смерти смотрели в лицо», «Девочка, хочешь сниматься в кино?» и другие.

Знают писателя и как драматурга. Его пьесы «Моя дочь Ньюша», «Балерина политотдела», «Салют», «Ночной мотоциклист», «Оглянись в любви своей» идут в театрах страны.

Писатель награжден орденами Трудового Красного Знамени и Великой Отечественной войны II степени. За фильм «Семеро солдатиков» награжден медалью Довженко.

## ЛЯЛЯ ПУЛЯ

Сперва небо качалось и его сносило то влево, то вправо. Потом оно рухнуло и придавило меня так, что стало трудно дышать. Оно было серым, пасмурным и кололо мне шею. От него пахло мокрым теленком. Когда наступило просветление, небо оказалось шинелью, которой санитары прикрыли меня от пронизывающего ветра.

Позднее небо поднялось, но было таким невысоким, что до него можно было дотянуться рукой. Только руку я не мог поднять. Под низким небом горел фонарь «летучая мышь» и я теперь уже не помню чем тогда казался мне фонарь под пологом палатки медсанбата — луной или солнцем.

Сердце вдруг похолодело и стало сжиматься. Оно уменьшалось, словно вырвалось из груди и помчалось куда-то вдаль. Я вообще перестал чувствовать сердце. В глазах поплыл туман. Я жадно глотал воздух — пил его, как воду.

И тут передо мной возникло два удивительно знакомых глаза. Они, не мигая, смотрели на меня в упор — холодные, светло-серые, почти бесцветные, словно радужка состояла из кристаллов льда. Я потянулся к ним, но остался неподвижен. Только губы дрогнули и с них сорвалось имя: Ляля Пуля.

И неожиданно запахло яблоками.

В нашем дворе всегда пахло яблоками. И летом, и осенью, и когда выпадал снег.

Свежий, бродящий аромат встречал уже у ворот. И обыкновенный, серый, мощный булыжниками двор от этого запаха становился торжественным и таинственным. Яблочный дух вырвался из низких подвальных окон и возносился до пятого этажа. Яблоками в нашем дворе пахло все, даже ветер, закручивавший водоворотики пыли. Даже снег.

Дело в том, что в подвале нашего дома размещался склад «плодоовощ». Осенью двор становился тесным от подвод и грузовиков, привозивших свежую партию яблок. Мы, ребята, конечно, были первыми помощниками при разгрузке яблок. Мы сопровождали

грузчиков, как чайки сопровождают судно в надежде поживиться отбросами камбуза.

Иногда из ящика, влитого в плечо грузчика, выскакивало яблоко и, прыгая по булыжникам, откатывалось в сторону. Это яблоко было нашей законной добычей. И никто не оспаривал нашего права. Если же — случалось такое счастье! — ящик падал и яблоки как от взрыва разлетались во все стороны, то тут наших прав на добычу не было, и начиналось пиратство. Грузчики собирали яблоки, а мы только ухитрялись урвать у них из-под рук, выхватить яблоко да еще успеть отбежать в зону безопасности. Это был самый настоящий бой между нами и «плодоовощью».

Случалось, мы просто воровали яблоки. Слово «воровали» не совсем подходило для этого случая, так как мы были убеждены, что не делаем ничего предосудительного, просто играем в азартную игру. Но «плодоовощ» называла вещи своими именами.

Временами мы люто враждовали с «плодоовощью». Но вот проходили осенние дожди, выпадал снег, ударяли морозы, и вражда затихала: нас приглашали перебирать яблоки. Перед нами распахивались недоступные двери «плодоовощи», и мы шли между рядами ящиков как по яблоневому саду. Мы работали усердно и, опьяненные ароматом, переносились в лето, и уже не могли себе представить, что всего два лестничных пролета отделяют нас от зимы.

Должен признаться, что яблоки мы не очень-то любили. От них мы получали только острое удовольствие доставшейся с риском добычи. В жизни каждого мальчишки обязательно должна быть хоть одна запретная яблоня в чужом саду, к которой крадутся, преодолевая страх быть побитым, а затем торопливо, с оглядкой срывают крепкие, с остатками завязи зеленые яблоки, от которых сводит рот. Но откуда в центре большого города взяться яблоне! «Плодоовощ» и была нашей яблоней.

Мы были большими знатоками яблок. Антоновку безошибочно отличали от аниса полосатого, а пипин шафрановый от апорта. Были нам знакомы и такие редкие сорта, как ранет орлеанский, кандиль синап и астраханское красное.

Когда же мы с гордостью приносили яблочные трофеи домой, нас прогоняли и велели вернуть законную добычу «плодоовощи». Как бы не так! Ни у одного из нас не поднималась рука на такой добродетельный поступок. И начиналась объедаловка. Яблоки трещали у нас на зубах, губы блестели от сока...

До сих пор запах яблок возвращает меня в детство.

Но этот рассказ не о яблоках, а о Ляле Пуле.

Ляля Пуля жил в бывшем каретном сарае.

У нас во дворе была вереница каретных сараев. Бабушка рассказывала, что в «мирное время», то есть до революции, в длинном одноэтажном здании с облупившейся желтой краской за высокими

воротами с фигурными коваными петлями и в самом деле во времена оные стояли кареты, потом их сменили легкие лакированные коляски на тонких дрожащих рессорах, фаятоны с поднимающимся верхом и приземистые сани с медвежьей полостью. Внутри на стенах каретных сараев висели дуги, подбитые войлоком хомуты, выездная сбруя с бляхами, похожая на кавказский ремешок. А несколько сараев были переделаны в конюшни — там стояли лошади. Потом все это куда-то делось, исчезло, отнесло временем. Остался один Орлик. И тяжелая телега на «дутиках» — резиновых шинах.

Орлик был ломовой лошадью или, как его еще называли, битюгом. У него была сильная короткая шея с седой гривой. И тяжелые, утолщенные книзу ноги. Когда Орлик шел по двору, каждый его шаг, как удар молота, отзывался на булыжниках лягом подков.

Утром мы просыпались от железных шагов коняги. Мы подходили к окну, и перед нашим взором предстал огромный мускулистый конь, который легко вез за собой телегу и в такт шагам покачивал головой, словно поддакивал своим мыслям.

Мы кормили Орлика хлебом, присыпанным солью. И он не спеша, с достоинством теплыми замшевыми губами брал из наших рук угощение и принимался жевать, вода челюстями из стороны в сторону.

У него были желтые, стертые зубы. Говорили, что по этим зубам можно определить его возраст. Орлику было за двадцать лет...

Хозяином Орлика был отец Ляли Пули — ломовой извозчик, ломовик. Или как иногда говорили в наше время — работник гужевого транспорта.

Ляля Пуля от рождения был немым. Сперва думали, что речь запаздывает и со временем мальчик заговорит. Но прошел год, второй, третий... Из уст мальчика вырывались только нечленораздельные звуки, похожие на мычание. Он все понимал, ему все хотелось выразить, но природа навсегда лишила его бесценного дара речи. Среди невнятных звуков и междометий, которые мальчику удавалось выдавить из себя, было два односложных созвучия — ля-ля и пу-ля. Мальчик тыкал себя пальцем в грудь и произносил свои два единственных слова — «ляля» и «пуля». В конце концов его так и стали называть — Ляля Пуля.

А его настоящее имя забылось.

Когда я вспоминаю Лялю Пулю, то почти физически ощущаю запах яблочек. И передо мной возникает его угловатая, чуть сутулая фигура. И как далекое эхо доносятся голоса грузчиков:

— Эй, Ляля Пуля, попадешься — уши поотрываем!

Но никто не отрывал ему уши. То ли жалели его, то ли он был таким неуловимым.

У него были холодные бесцветные глаза, а когда он смотрел на нас, не в силах выразить словами свою мысль, во взгляде появлялось что-то загадочное, словно он умышленно молчит, скрывает свою тайну.

Он ходил, прижимаясь к стене, тихой кошачьей походкой. А от преследования уходил большими пружинистыми прыжками. У него были холодные руки и цепкие пальцы. Он был диковатым и потому его считали злым. Но, наверное, трудно быть добрым, если весь окружающий мир не понимает тебя, насмехается, сторонится...

Ребята дразнили Лялю Пулю. И я не был исключением. Движимый какой-то злой радостью, я вместе со всеми бежал следом за ним и орал: — Ляля Пуля! Ляля Пуля!

Как должно быть тяжело, когда тебя дразнят твоим же именем!

У Ляли Пули не было друзей — никто не понимал его, никто не хотел дружить с немым. Зато с малышами он быстро находил свой особый бессловесный язык. Играл с ними, возился. Он понимал их, они понимали его.

Из-за своей вынужденной замкнутости Ляля Пуля казался нам примитивным, недоразвитым. Нашего воображения не хватало, чтобы представить себе сложную и, как потом оказалось, прекрасную жизнь, которая скрывалась в нем и не находила выхода.

С годами в нем накопилось множество произнесенных слов. Слова распирали грудь. Мешали дышать. Ему было больно от этих слов. И на лице рано появились две страдальческие морщинки.

Отец Ляли Пули — ломовик или работник гужевого транспорта, — не был немым. Но он от природы был мрачен и молчалив. Может быть, немота сына так резко повлияла на него? А у матери был звонкий голос, и он звучал оскорбительно громко в обществе немого и немногословного.

С родителями Ляля Пуля объяснялся жестами и мимикой, а нам казалось, что он не разговаривает, а кривляется.

Мы не понимали одиночества Ляли Пули, не замечали, как он тайне тянется к нам. Мы были в том жестоком возрасте, когда люди не чувствуют чужой боли и не откликаются на чужую беду. У некоторых из нас с годами эта жестокость прошла — мы переболели ею, как корью. А некоторые сохранили ее на всю жизнь.

Но прежде чем рассказать историю жизни Ляли Пули, я должен познать вас с еще двумя жителями нашего двора.

В далекие времена моего довоенного детства было принято сокращать и объединять слова. Тогда на свет появилось множество новых слов и словечек, из которых можно было составить целый словарь: зам, зав, жэк, нарпит, учком, плодooвоц. В этом ряду стояло и рожденное в нашем дворе слово «завбань». Оно возникло из соединения двух слов — заведующий и бани. Завбань — это было имя бывшего заведующего банями. Он жил во втором подъезде, и нам казалось, что от него всегда пахло мылом и веником. Лицо у Завбана было розовым, словно он и в самом деле только что вышел из парного отделения, толстая нижняя губа отвисла, словно он держал во рту

бублик. Одежда состояла из брюк, заправленных в высокие сапоги, и длинной рубахи «толстовки», подпоясанной тонким кавказским ремешком, похожим на сбрую Орлика с серебряными бляхами и насечкой.

Завбань относился к той породе людей, которые считают, что им до всего есть дело и что они призваны всюду и везде наводить порядок. Его и с работы уволили за то, что он принялся «наводить порядок» в женском отделении своих бань. Однажды возмущенные его появлением женщины облили Завбаня из ушатов горячей водой и написали жалобу.

Оставшись без работы, Завбань добровольно принялся наводить порядок у нас во дворе. Он сам себя назначил стражем «плодоовощи». Зорко следил за каждым упавшим яблоком и как коршун набрасывался на каждого, кто протягивал к добыче руку.

Мы дружно ненавидели Завбаня. И дали ему кличку «старый веник».

Я рассказал о Завбане, потому что он сыграл немалую роль в жизни Ляли Пули.

Но главная роль принадлежала Симе. Сима училась не в обычной школе, а в балетной. Но в остальном была обыкновенной девчонкой: охотилась с нами за яблоками, и дразнила Лялю Пулю, и ненавидела Завбаня. А то, что она ходила в балетную школу и что вместо портфеля у нее был балетный чемоданчик, — не имело никакого значения.

Пусть будет балет — был бы человек хороший!

А теперь я расскажу о белом розмарине. О яблоке с нежной кожей и тонким незнакомым ароматом. Такие яблоки растут только в Крыму, созревают под южным солнцем. И когда снимают урожай, каждый плод аккуратно облачают в шуршащую папиросную бумагу, чтобы не повредить бархатистую кожу. Когда в «плодоовощ» привозили розмарин, это было событием. Даже ящики у белого розмарина были необычными: струганые, с яркими наклейками, на которых изображались синее теплое море, белоголовые горы и крупные золотые плоды. От ящиков шел тонкий захватывающий аромат. Стоя в стороне, мы внимательно наблюдали, как на плечах грузчиков таинственные ящики уплывали в темные, дышащие холодом недра подвала. И не надеялись на удачу. Но когда не надеешься, тогда-то она и приходит!

В день, который прочно остался в моей памяти, огромный рябой детина в рваной лиловой майке неожиданно споткнулся. Ящик легко соскользнул с крутого загорелого плеча и, упав на булыжники, разбилсь вдребезги. Яблоки запрыгали и покатались по двору.

Это действительно была удача! Пока растерянный грузчик чертыхался и решал, что делать, мы как выстреленные бросились к добыче. Он был один, нас — много. И среди нас был Ляля Пуля.

Ловко подхватывая катящиеся яблоки, немой набивал ими карманы, клал за пазуху. Гибкий, ловкий, изворотливый, он давал нам сто очков вперед!

Когда грузчик очухался, двор был уже пуст. Мы убежали, унося с собой редкую добычу — белый розмарин в папиросной бумажке...

И тут из подъезда выкатился Завбань. Его глаза воинственно заблестели, и он сразу смекнул, что всех нас не переловишь; он выбрал своей жертвой Лялю Пулю. Завбань шустро побежал за немым похитителем яблок. Его живот смешно запрыгал под рубашкой, и Завбань на бегу поддерживал его рукой, словно боялся потерять.

Никогда в жизни Завбань не догнал бы Лялю Пулю.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Ляля Пуля остановился. Навстречу ему шла Сима. Худенькая, вытянутая, с покатыми плечами и длинной шеей, на которой сидела маленькая гордая голова. Пухлые губы, сросшиеся на переносице золотистые брови, большие серые глаза. Походка у нее была необычно плавная и, делая шаг, она изящно, по-балетному, разворачивала ступню, словно собиралась танцевать.

Для нас и для Ляли Пули все это было привычным: и Симиная походка и Симины глаза. Но сейчас, поравнявшись с Симой, он вдруг забыл про погоню, остановился и протянул девочке розмарин в папиросной бумажке.

Сима тоже остановилась и удивленно посмотрела на Лялю Пулю.

И в это мгновение, пыхтя и отдуваясь, подоспел Завбань и розовой рукой крепко вцепился в плечо Ляле Пуле.

Ляля Пуля не шевельнулся, не попытался вырваться, а продолжал стоять с яблоком в протянутой руке. Он смотрел на Симу, словно видел ее впервые. Слово это вообще была не Сима, а новая, неизвестно откуда взявшаяся девчонка. Поведение Ляли Пули так удивило Симу, что она растерялась: не уходила, но и яблоко не брала. Даже Завбань ошел, но тут же пришел в себя и закричал:

— Я тье покажу! Я тье покажу! Я тье дам воровать... казенное добро...

Слова «казенное» было для него самым значительным.

Ляля Пуля не слышал его скрипучего голоса и не чувствовал его клешни на своем плече. Он смотрел на Симу.

Тогда Завбань ударил его по шее. Ляля Пуля только втянул голову в плечи и поежился, но продолжал стоять. Он смотрел на Симу.

— Что же ты не бежишь? — спросила девочка.

Ляля Пуля, естественно, не ответил ей. Он не мог ответить, потому что был немым. Но даже, если бы он и владел даром речи, то в эту минуту промолчал бы, потому что очутился в ином мире, где своя боль, своя радость, так не похожие на боль и радость нашего двора.

Тогда Сима сощурила глаза и крикнула Завбаню:

— Отпусти его, старый веник!

Со всеми вместе она всегда дразнила Лялю Пулю, а тут вступилась за него.

Завбань закусил бублик — нижнюю губу — и тонким голоском ответил Симе:

— Ты еще вспомнишь... веник! Я тье еще покажу веник!

И он еще раз ударил мальчишку.

Сима с презрением посмотрела в глаза Ляле Пуле и крикнула, как бы приказала:

— Беги!

И он не мог не выполнить ее приказа, хотя еще вчера ему было решительно наплевать на то, что скажет Сима. Но то было вчера.

Ляля Пуля резко повернул голову и по-звериному впился зубами в розовую руку Завбаня. Клешня тут же разжалась, и на весь двор прозвучал вопль «старого веника». Ляля Пуля повернулся и пошел прочь.

А Завбань, прижимая к животу кровоточащую руку, кричал ему вслед:

— Хулиган! Гопник! Шпана!

Ляля Пуля шел по бульжному двору с яблоком, зажатым в руке, поглощенный своим удивительным открытием, которое он сделал мгновение тому назад.

В тот день никто из нас не находил объяснения странному поведению Ляли Пули. А расспрашивать его было бесполезно.

На другой день Завбань появился во дворе с перевязанной рукой. Он держал раненую руку на животе, чтобы все видели, что он ранен. Он даже гордился своей раной и на расспросы отвечал коротко, словно произносил лозунг:

— Пострадал в борьбе с расхитителем казенного имущества!

А встречая Лялю Пулю, издали грозил ему кулаком и выкрикивал:

— Ты у меня еще сядешь... Я тье под следствие подведу... членовредитель...

Но немой уже не слышал угроз Завбаня.

С того дня как в «плодоовощ» привезли белый розмарин, с ним начали происходить перемены. Он замкнулся и стал равнодушен к нашим дворовым забавам.

Напрасно Завбань пытался поймать похитителя яблок на месте преступления и привести его в отделение — яблоки совсем перестали интересоваться Лялю Пулю. Он равнодушно проходил мимо машин и подвод, груженных яблоками, и привычный запах уже не пробуждал в нем охотничьего инстинкта.

Мечь Завбаня откладывалась.

Ляля Пуля как бы повзрослел, поднялся на ступеньку над нами и казался таинственным и недоступным. Часами просиживал он на скамейке перед каретным сараем, не сводя глаз с арки ворот, разглядывая входящих и выходящих.

Что стало с Лялей Пулей? Может быть, заболел? Мы не находили ответа. А потом вообще перестали обращать на него внимание.

А он не просто сидел на скамейке, не сводя глаз с подворотни. Он ждал появления Симы. И стоило ей возникнуть в полукруглой арке, как он срывался с места и спешил ей навстречу, словно хотел сообщить ей нечто очень важное. Он громыхал грубыми ботинками «на резиновом ходу», а она шла легкой походкой, словно плыла над лобастыми бульжниками нашего двора. И в руке у нее покачивался маленький балетный чемоданчик, в котором лежали туфельки-пуанты и трико.

Ляля Пуля подбегал к ней и вставал у нее на пути.

— Здравствуй! — говорила Сима.

Ляля Пуля молчал. Он смотрел на девочку, и ледяные кристаллики его радужек начинали теплеть, и в них появлялся цвет пасмурного неба или серебристой изнанки листьев тополя.

Сима чувствовала, что Ляля Пуля что-то хочет сказать ей, и некоторое время выжидательно стояла на месте, забыв, что перед ней немой. Но не дождавшись никакого знака, уходила, едва касаясь земли маленькими аккуратными ножками.

У нашего двора — всевидящие глаза. Они очень скоро заметили причину Лялипулиных перемен. Ребята стали посмеиваться над немым, дразнили его. Тили-тили тесто... Но Ляля Пуля не обращал внимания на насмешки товарищей. Из негомо он как бы превратился в глухого. Слова пролетали мимо, едкие шутки отскакивали от него, не причиняя вреда.

Он появлялся во дворе, но на самом деле как бы переносился в иной, удивительный мир. Он смотрел на нас и не видел своих товарищей. А наша Сима, наша обыкновенная Сима претерпела в его сознании такие изменения, что мы бы не узнали ее.

Как раз в это время у Ляли Пули появилась синяя тетрадка.

Я хорошо помню ее. На обложке был изображен вещий Олег, который прощался со своим конем, и кудесник, «любимец богов», предупреждающий князя, что он погибнет от коня своего. В таких тетрадках мы решали задачи, писали диктанты. Но у его тетрадки было совсем иное назначение.

«Я не помню, какое сегодня число. Не знаю, какой день. Впрочем, сейчас ночь, а ночь не имеет имени... Карандаш ломается. Фонарик еле светит — батарейка подходит к концу. В доме все спят и как бы отсутствуют — никого нет. Спящие люди — временно лишённые разума, души. У них ничего не болит. Ничто их не беспокоит. Разве что

сны? Но сны, как страницы странных книг, которые кончаются утром и уже никогда в жизни не повторяются... Я не сплю. Мне кажется, что я уже никогда не буду спать. Не могу, не сумею заснуть.

За окном идет дождь. Я не вижу его, только слышу, будто кто-то бежит трусой. Шумят листья. Тихо подбарабанивают крыши. Полощут горло оцинкованные водосточные трубы. Где-то очень далеко, тоненько, как новорожденный, пискнул паровоз.

Что со мной? Может быть, это болезнь, странная болезнь, не имеющая названия? Но почему тогда ноющая боль вдруг сменяется радостью, словно сердце до боли сжимается в комок, а затем распускается и становится необъятным.

Я жду наступления дня, чтобы увидеть ее.

Ляля Пуля, как тень, следовал за Симой — тихая, безмолвная тень. Он встречал ее во дворе, отыскивал ее в городе, оказывался рядом, когда она стояла в очереди за хлебом.

Сперва Сима не обращала на это внимания. Но постепенно настойчивость вездесущего Ляли Пули стала раздражать ее. Что ему надо от нее? Пусть он отстанет! А тут еще ребята начали посмеиваться. Тили-тили. Девочка избегала немого, пряталась от него.

Так они и играли в прятки: Сима вечно пряталась, а Ляля Пуля бессленно водил.

И вот однажды Ляля Пуля появился в хореографическом училище.

Он проскользнул в парадный ход, так что старушка вахтер и не заметила, и легко вбежал по лестнице на второй этаж. Он шел беззвучной походкой по длинным коридорам и заглядывал в классы, откуда доносилась музыка. Никто не обращал на него внимания, никто ни о чем не спрашивал его, никто не знал, что он немой. Вокруг все было неведомым и жутковатым... Пробежали девчонки в белых крахмальных пачках. Они окружили его, обволокли шуршащим облачком, и вместе с ними Ляля Пуля попал на третий этаж. И снова заглядывал в классы, где был мир музыки и движений — мир, понятный ему, мир, в котором он мог существовать.

В одном из классов с большой зеркальной стеной он увидел Симу. На ней было черное трико и розовые туфельки, а волосы были стянуты бархатной повязкой. Ляля Пуля как увидел ее, так и замер. Держась за палку станка, Сима отводила в сторону свободную руку, и рука замирала, как ветка прекрасного дерева, потом она плавно выгибалась, поднимала ногу и замирала на носочке розовой туфельки. И Ляле Пуле казалось, что если она разожмет руку и отпустит палку, то полетит!

И вдруг преподавательница, высокая женщина с тонкими бровями, заметила незнакомца. Она хлопнула в ладоши. Музыка оборвалась. Полет кончился.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она незваного гостя.

Ляля Пуля, естественно, молчал.

— Я тебя спрашиваю, — строго повторила учительница танцев. — Что тебе надо?

Ляля Пуля молчал, только губы у него задрожали, словно пытались вылепить слово.

— Девочки, кто знает его?

Некоторое время в классе было тихо. Потом Сима неохотно сказала:

— Он немой.

— Сима, ты его знаешь? Он пришел к тебе? — удивилась учительница.

— Он живет в нашем доме.

Сима покраснела и отвернулась. Ей стало стыдно, что этот немой, калека имеет к ней отношение. Она зашептала подругам что-то оправдательное.

— Странно! — Тонкие брови учительницы танцев поднялись вверх. — Странно! Тогда пусть он уходит отсюда. Здесь нельзя посторонним...

Нет, Ляля Пуля не был посторонним. Как зачарованный, стоял он на месте, не замечая ни тонкобровой, ни девочек с гладкими волосами, ни зеркал. Он видел только Симу. Она смотрела на него из зазеркалья. И там, в сверкающем мире, ей не было стыдно, что к ней в училище пришел немой.

Потом Сима повернулась — вышла из зазеркалья — и недовольно крикнула:

— Иди отсюда!

Девочки тихо засмеялись. А он, повинувшись приказу Симы, повернулся и пошел, как, повинувшись воле дрессировщика, идет зверь, дикий, но покоренный.

«Почему в детстве меня не отвели в балетную школу? Может быть, я смог бы. Я бы наверняка смог. Разбился бы в лепешку, а смог бы. Ведь если человек нем, ему надо найти дело, пригодное для немых, где не надо говорить, где можно себя выразить без слов.

Когда хромота входит в воду, хромота пропадает. Когда немой танцует — разве кому-нибудь важно, что он нем? Балет это не только искусство. Это язык без слов. Печаль и радость, любовь и ненависть — нет на свете такого чувства, которое нельзя было бы выразить танцем. Только в танце можно по-настоящему забыть о своей немоте.

А может быть, еще не поздно?

Поздно.

Уже пять лет, как она уходит и возвращается со своим балетным чемоданчиком в руке. Пять лет — не догонишь!

Сегодня я был там. Я видел ее в зале с зеркальными стенами. Я видел ее глаза и ее движения. Это нечто особое, прекрасное и таинственное. Я раньше и не подозревал, что движения могут так

выражать человека. Она была в костюме, напоминающем купальник. Он обтягивал и как бы обнажал ее тело. И когда я смотрел на нее, то чувствовал, как кровь приливает к моему лицу, словно я видел больше, чем дозволено.

Ее тело пело. Это была песня без звуков и потому так хорошо понятная мне. Пели руки, ноги, шея, плечи, голова. Она как бы не танцевала, а парила в невесомости или двигалась под водой, где тело обретает легкость.

Я люблю ее сильнее. А для нее я остался диковатым, немым парнем».

Никто в нашем дворе не знал о приходе Ляля Пули в хореографическое училище.

Только два человека знали: Сима и сам Ляля Пуля. И когда однажды вечером они оказались лицом к лицу, Сима сказала:

— Кто тебя звал? Зачем ты пришел в училище? Ты позоришь меня! Слышишь! Я не хочу тебя видеть. Нигде! Никогда! Ты мне... ты мне противен, Ляля Пуля!

Он выслушал ее терпеливо и покорно. Казалось, он не обращал внимания на смысл ее обидных слов, а слушал только звук ее голоса, слушал ее голос, как слушают пение или музыку.

И только потом, лежа на своей жесткой койке, ночью смысл Симиных слов дошел до его сознания. «Она же ничего не понимает! Ничего не чувствует! Она считает его обыкновенным приставайлой, одним из тех пустых, незрелых подростков, которые прикрывают свою никчемность дерзостью и злым озорством».

Он хотел обвинить ее, но винил себя. Корил себя за никчемность. Он ничего не достиг, ничего собой не представляет. Она не хочет его видеть! Может быть, она по-своему права. Надо что-то делать! Надо что-то делать! Надо что-то совершить!

«В Калуге живет одержимый старик, который изобретает ракеты и собирается полететь на них в небо. Туда не летают самолеты, даже аэроплан не может подняться на такую высоту. Там человек теряет вес и может плавать, как в воде, прямо и вверх ногами. Но главное — там безмолвие. И там немой становится обычным человеком. Не с кем разговаривать, и даже, если заговоришь, никто не услышит.

Раньше я мечтал стать артистом и сниматься в кино. В кино тоже нет звуков, только кто-то в темноте брэнчит на рояле. Но теперь кино стало звуковым. А там, где надо говорить, для меня закрываются двери.

Лететь в космос, наверное, очень страшно. Еще ни один человек не летал туда... Человек может не выдержать... Может сгореть вместе с ракетой... Может улететь и не вернуться на Землю... Но тот, кто рискнет, отважится, будет героем. Даже если он немой. И тогда она перестанет смеяться. И простит мне, что я все время молчу...

Если человек молчит, он должен найти другое средство, чтобы выразить, что в нем происходит, что он чувствует... А так немой кажется просто чурбаном... Ненавижу немых!.. Ненавижу себя.

Многие называют калужского старика безумцем, и почти никто из взрослых не верит ему... Но я верю... И когда стану взрослым, тоже буду верить.

Бросить все и поехать в Калугу! Старик взял бы меня подручным. А потом, может быть... может быть, послал меня. Потому, что он старый, ему трудно лететь самому?

А как же она?»

Я навсегда запомнил эту ночь. Маленькую серебристую луну, полосы облаков, похожие на прибойные волны. И шум листвы, как шум моря. И голос трубы, среди ночи поднявший на ноги весь дом.

Когда человек лишен дара речи, он совершает поступки. Поступки говорят за него, они и есть его язык. Не будь Ляля Пуля немым, может быть, не было бы этой ночи, о которой одни вспоминают с руганью, другие — с восторгом. Но Лялю Пулю не интересовали ни те, ни другие. Он думал о Симе.

Ночью он вошел в конюшню, и в лицо пахло теплым духом, сухой соломой, сырмятными ремнями — тем домашним, конюшненным ароматом, который устанавливается в жилье лошади.

Орлик спал стоя. Неподвижно. Только иногда перебирал во сне ногами. Фыркал и снова затихал. Когда Ляля Пуля переступил порог бывшего каретного сарая, уши коня дрогнули и насторожились. Ляля Пуля подошел к конской морде и протянул краюху хлеба, как инеем, присыпанную солью. Конь тяжело вздохнул и мотнул головой. Ему не хотелось расставаться со сном, но запах хлеба приятно защекотал ноздри, и он потянулся к угощению, тычась в темноте мягкими губами в руку Ляли Пули.

А когда конь съел хлеб, Ляля Пуля вывел его из конюшни, ловко забрался на спину лошади и легонько ударил пятками по круглым бокам коня, как бы скомандовал:

«Но, Орлик! Но-о-о, пошел!»

В тишине медленно застучали железные удары лошадиного шага. Когда Орлик вышел на середину двора, Ляля Пуля остановил его. И тут в его руке блеснула труба. Он поднял ее, словно нацелился в небо, и затрубил.

Он трубил, как архангел, собирающий на суд всех грешников мира. Люди просыпались, не понимая, что происходит, бросались к окнам. И замирали в недоумении.

Посреди двора залитый лунным светом стоял серебряный конь. Он был большим, с густой челкой, наползающей на глаза, и с заплетенной

косичками гривой. Большие тяжелые ноги книзу заросли шерстью и от этого казались еще тяжелее.

На огромном коне-тяжеловозе сидел хрупкий, большоголовой Ляля Пуля. На спине лошади он выглядел совсем маленьким.

И тем, кого его труба подняла с постели и кто застыл у окон, это казалось видением, продолжением какого-то фантастического сна.

Ночной сигнал разбудил Симу, и она босиком, в длинной белой рубашке подошла к окну, чтобы увидеть возмутителя ночного спокойствия. И увидела Лялю Пулю. Сперва она недовольно сдвинула брови и хотела уже вернуться в теплую постель, но вдруг со всей ясностью поняла, что это ради нее он вывел ночью коня и заиграл на трубе. Играл он плохо, голос трубы хрипел, срывался, но это не имело значения. Симино сердце вдруг застучало от гордости. И тогда она выглянула из окна и помахала рукой Ляле Пуле. Прекрасная дама приветствовала своего рыцаря. И рыцарь почувствовал себя счастливым.

Это мгновение, как и всякое прекрасное мгновение, длилось недолго.

Оно длилось до тех пор, пока разбуженные люди не пришли в себя и не осознали, что это не сон, а дерзкая, из ряда вон выходящая реальность. И вместо серебряного коня и рыцаря увидели огромного ломового битюга и дикого немого мальчишку, который из хулиганства вывел коня из конюшни и среди ночи затрубил на весь двор.

И тогда дом зарычал, поднял крик:

— Безобразии! Хулиганство! Распущенность!

И по лестнице бежал Завбань, счастливый тем, что оказался бдительным и не проспал это ночное безобразие.

Весь следующий день Ляля Пуля ждал появления Симы, но она не выходила во двор, даже не пробежала от подъезда до ворот. Напрасно немой не спускал глаз с подворотни. В полукружке ворот появлялись и исчезали другие люди, а Симы не было. Может быть, она заболела или с ней что-нибудь случилось?

И новая дерзкая мысль родилась в сознании немого — Сима жила на третьем этаже, и он решил взглянуть в ее окно. Он полез на дерево. Ловкий и гибкий, как обезьяна, он хватался за ветки, прижимался к стволу и подтягивался, и поднимался все выше, пока не достиг третьего этажа. Тут он замер. Листва скрыла его. Он слился с ветками, со стволом и как бы стал частью дерева.

Затаив дыхание, Ляля Пуля посмотрел в Симино окно.

Она стояла перед большим зеркалом и делала свои удивительные балетные движения. На ней были легкие голубые трусики и... больше ничего. Она стояла спиной к невидимому наблюдателю. Ее тело было в движении: нога отведена назад, спина выгнулась, головка откинулась. Потом новое движение, новый жест, новая поза — и Сима замирала на носочках, а руки колыцом соединяла над головой...

Неожиданно Сима повернулась, и Ляля Пуля увидел на ее груди два симметричных розовых пятнышка.

Он вздрогнул и хотел уже покинуть свое убежище и не спуститься, а спрыгнуть на землю, но в это мгновение Сима внимательно посмотрела в окно и увидела тайного наблюдателя. Сперва Ляле Пуле показалось, что Сима не узнала его. Она вдруг сжалась в комочек и стала маленькой и беспомощной, как будто делала что-то нехорошее и ее застигли врасплох. Но потом пришла в себя, выпрямилась, скрестила руки на груди и подошла к окну.

— Что тебе надо?!

Ляля Пуля молчал. Но если бы даже он был говорящим, то все равно промолчал бы. Не мог же он сказать своей подруге, что должен бы увидеть ее, услышать ее голос, ощутить ее близко.

— Зачем ты лазаешь по деревьям, как обезьяна?

Ночного рыцаря на белом коне она обозвала обезьяной.

— Уходи отсюда! Ты же видишь, что я раздета!

Он отвернулся, и вдруг она заметила красный след отцовского кнута на его шее. За ночное происшествие. След пылал, словно к телу приложили раскаленную проволоку.

— Это тебя отец? — спросила Сима.

Ляля Пуля, не оборачиваясь, кивнул головой. Ему показалось, что девочка пожалела его. Она тут же сухо скомандовала:

— А теперь слезай! Быстро!

«Я сошел с ума. Я делаю то, что может делать только мой заклятый враг. Как это произошло, что мой злейший враг — это я сам?

Она, как всегда, появилась во второй половине дня в воротах. И я опустил голову, побрел ей навстречу. Я шел, как лунатик, заранее не зная, что произойдет дальше.

Увидев меня, она на какое-то мгновение остановилась. Она стояла в арке, словно была нарисована. Словно это был прекрасный портрет: ступня развернута, головка откинута, одно плечо чуть выступало вперед, словно она, моя ненаглядная балерина, собиралась сделать пируэт. И столько в ее облике было света, красоты... Мне показалось, что она позирует художнику. И тут я в первый раз в жизни пожалел, что не рисую, что не могу ее изобразить на холсте.

Она смотрела на меня удивленно и тепло. И я почувствовал такое влечение, какое не испытывал ни разу в жизни. Я хотел броситься к ней. Обнять ее, прижаться к ней.

Но она недолго стояла в подворотне. Тряхнула головой, и пошла, поплыла над землей. И тогда, повинувшись какой-то темной скрытой силе, я бросился за ней. Обхватил ее руками... прижался к ней всем телом и почувствовал рукой... что-то бесконечно теплое и нежное...

Она резко повернулась ко мне. Глаза ее горели ненавистью. А сама была белой, как бумага. Все краски жизни покинули ее в это страшное мгновение. И она ударила меня. И что-то крикнула.

Я стоял ошеломленный посреди двора. Я не слышал ее слов, не чувствовал, как горит щека от удара. Я окаменел. Умер. Но сквозь свою смерть я продолжал чувствовать биение ее сердца, ее тепло, ни с чем не сравнимую нежность.

Не знаю, как я выглядел со стороны. Наверное, мерзко.

А она не уходила, она, казалось, с большим интересом смотрела на мое унижение. И в ее глазах, кроме презрения, я прочел нечто иное... Прощение? Жалость? Снисхождение?

И вдруг она подошла ко мне и тихо сказала: «Прости».

И пошла прочь.

И тут передо мной возник Завбань. Он всегда возникал в самые трудные минуты жизни. Живот колыхался под свободной «толстовкой», вороватые глаза смотрели с наглым любопытством.

— А ты, оказывается, бабник! — сказал Завбань и захихикал мелким горохом.

Ляля Пуля был дома. Кажется, он обедал, когда в окне бывшего каретного сарая возникла розовая физиономия Завбаня.

Некоторое время он просто стоял и бесцеремонно пялил глаза на Лялю Пулю. Но когда немой отвернулся, чтобы не видеть противной рожи, Завбань сказал:

— Подожди... Подожди, Ляля Пуля. Там у тополя ребята твою тетрадочку читают. Забавно ты пишешь.

Завбань улыбнулся, словно состроил гримасу, и тонким голоском пропел:

— А ты, оказывается, бабник, Ляля Пуля!

Немой не сразу понял, в чем дело, со звоном захлопнул окно перед носом Завбаня. И только тогда известие молнией вонзилось в его сознание. Ляля Пуля побелел и тихо застонал. Потом беспомощно заматался по дому. И вдруг, схватив со стола большой кухонный нож, бросился к двери.

А в это время у старого тополя под смешки и колкие словечки синяя тетрадь разбалтывала ребятам тайну любви Ляли Пули.

«Я ждал ее целый день... Она не появлялась...— читал рыжий парень, скаля в улыбке зубы.— Я смотрел на подворотню, но оттуда выходили другие люди, а ее не было...» Ха-ха!.. «Я молчал, но если бы даже и был говорящим, я бы все равно молчал...» Ха-ха!.. «Ей и в голову не приходит, что днем и ночью я думаю только о ней. А сказать ей этого не могу...» Ха-ха!..

Вдруг смех оборвался. Рыжий запнулся. Ребята подняли глаза и увидели Лялю Пулю. Он стоял перед тополем белый, с большим ножом в руке. Его грудь тяжело поднималась и опускалась, а холодные, бесцветные глаза скользили по лицам оцепеневших ребят, словно выбирали жертву.

Державший тетрадь понял, что надо как можно скорее вернуть ее разъяренному Ляле Пуле. Он бросил тетрадь, и, взмахнув синим

крылом, она опустилась к ногам своего хозяина. И в то же мгновение, тесня друг друга, ребята пустились бежать, спасаясь от возмездия, трусливо озираясь.

Ляля Пуля не побежал за ними — остался стоять над своей исповедью, над своей оскверненной любовью. Синяя тетрадь предала его, разболтала тайну его любви. И как изображенный на обложке вещей Олег должен был умереть от коня своего, так Ляля Пуля погибал от своей исповеди.

И тут он сломался, упал на колени и с силой вонзил нож в синюю тетрадь. Он наносил удар за ударом, словно обыкновенная школьная тетрадка в косую линейку была единственной виновницей его несчастья. Он вонзал нож в слова, которые не мог произнести и доверил бумаге. Слова предали немого. Слова! Будь они прокляты!

Может быть, в тот момент Ляля Пуля думал, что он убивает свою несчастную любовь. По молодости лет он не знал, что любовь нельзя убить даже ножом.

Он был немой. Он не мог говорить. Он мог только действовать. И нож уходил в землю, как в грудь воображаемого врага.

А потом Ляля Пуля охладел. Медленно встал и побрел прочь, не поднимая с земли израненной тетради. Слово оторвалось от нее, и она уже не имела к нему никакого отношения.

И тогда я отбросил в сторону нож и поднял никому не нужную тетрадь. Я взял ее в руки осторожно, словно боясь причинить боль израненным страницам.

Рядом тут же появился Завбань, который с радостным интересом из укрытия наблюдал за этой дворовой драмой. Он довольно поглаживал живот.

— Интересуешься? — спросил он меня. На его лице было написано кислое самодовольство.

Я ничего не ответил. Пошел прочь.

Я вдруг почувствовал, что у меня в руках не тонкая школьная тетрадка, а жизнь человека. Израненная, несчастная жизнь.

Сперва я без особого интереса перелистывал изрезанные безжалостным ножом страницы. Читать было трудно: почерк у Ляли Пули был не бог весть какой, а часть букв погибла. Но чем больше я вчитывался в рваные полоски, тем больше поражался тому, какое удивительное существо скрывалось под личиной диковатого парня с поступью крадущегося зверя. Немой Ляля Пуля знал истинную цену словам. Его слова оживали, создавая удивительный мир любви.

И вдруг я понял, что не он немой, а я, все ребята нашего двора — бессловесные твари, умеющие только кричать, свистеть, гикать, а те немногие слова, которые мы выкрикивали, были вовсе не словами, а звуками, междометиями, лишёнными глубокого смысла, пустыми и броскими, как фантики.

Мы были немые, а говорил он. И каждое его слово окружал ореол

смысла и чувств, каждое слово было на вес золота, и из этих бесценных Лялипулиных слов вдруг стал вырисовываться истинный Ляля Пуля.

Раненые страницы уводили меня в сложный, непонятный мир нашего немого товарища. Некоторые страницы сохранились почти целиком, от других остались только отдельные полоски.

«Слова нужны только, когда есть двое. А одному зачем слова, зачем голос. Разговаривать самому с собой можно и без слов...»

«Почему люди смеются над чужим горем? Может быть, они смеются от радости, что беда обошла их?»

«Все самое прекрасное на земле создается двумя людьми, а одному это не под силу...»

«То, что испытываю я, не чувствует ни один человек в мире, и поэтому у моего чувства нет названия, нет слов... а старые слова не годятся. Они слишком избиты, стерты, их звучание не находит отклика в сердце...»

«Как хорошо, что я немой, что я не должен верить словам свое чувство. Ведь тайна разглашается словами... И предательство совершается словами... А для любви слова не нужны...»

Я осторожно расправлял уцелевшие полоски, словно передо мной была не исповедь моего дворового сотоварища, а какой-то бесценный документ истории. А может быть, все, что здесь написано, касается и меня? Для того, чтобы разговаривать самому с собой, слова не нужны. Тогда это было для меня откровением. Но теперь, спустя много-много лет, я понял, что значит в моей жизни слово. Слово существует во мне как самостоятельное живое существо, приводит меня в уныние и вызывает радость. Слово спасает меня от одиночества.

А когда человек не может произнести слово,— это несчастье. Ляля Пуля всю жизнь преодолевал его. Сумел ли он в конце концов найти свое счастье?

Сперва я хотел вернуть находку Ляле Пуле: ведь тетрадка принадлежала ему. Но потом решил, что должен поступить так, как никогда бы не решился наш немой. Может быть, этим я помогу ему?

Вечером я позвонил в дверь Симы. Она открыла сама.

— Что тебе?

— Ты ничего не знаешь про Лялю Пулю? — спросил я.

Сима покачала головой.

— Что-нибудь случилось?

— Завбань отомстил ему. Он нашел его дневник и отдал ребятам. Ляля Пуля чуть не убил их. Но потом он изрезал тетрадь... Вот. Возьми ее.

И я протянул Симе изрезанную тетрадку.

— Зачем мне? — неуверенно спросила она, но я почувствовал, что она догадывается, в чем дело.

Я не стал объяснять, только сказал:

— Прочтешь, узнаешь!

Она приняла из моих рук тетрадку и вдруг, повинувшись предчувствию, прижала ее к себе, словно я собирался тут же отобрать у нее свою находку.

После того, как синяя тетрадь с вещим Олегом попала в руки Симы, с ней тоже произошли перемены. Теперь она не задерживалась на дворе, а когда шла в училище, торопилась поскорее скрыться в полутемной подворотне; наверное, все жильцы дома знали о любви немого и, прижавшись лбами к стеклам, провожали ее недобрый всевидящим взглядом.

Она стала задумчивой, молчаливой, словно в честь своего немого влюбленного приняла обет молчания. Какие чувства переполняли ее? Что разрушилось в ней и что родилось заново? Перечитывая ранние страницы исповеди Ляли Пули, ей показалось, что немой заговорил с ней вопреки своей немоте и она даже услышала звучание его голоса, но этот высокий, прекрасный разговор подслушали, высмеяли, превратили в жестокий фарс. Грязные резиновые подошвы парусиновых туфель Завбана безжалостно прошлись по чистым страницам заветной тетради.

Каждый вечер, оставшись одна, Сима перечитывала тетрадь Ляли Пули. И хотя уже знала наизусть каждую страницу, читала, читала... Она уже не думала о грязных насмешках, о ненавистной физиономии Завбана — ее мучило другое: правда ли это любовь или плод прекрасной фантазии несчастного немого?

И однажды она не выдержала, вышла вечером во двор, подстерегла Лялю Пулю и встала на его пути.

— Зачем ты написал это? — спросила она и достала из своего багетного чемоданчика синюю тетрадку.

Ляля Пуля опустил голову и молчал.

— Ты хотел посмеяться надо мной?.. Ты хотел опозорить...

Глаза немого потемнели, он прижал к лицу кулаки, и из его груди вырвался стон. Нет, нет, я люблю тебя. Люблю твое лицо, глаза, твою платку, каждое твое движение... Люблю твой балетный чемоданчик... Он говорил, говорил, но слова не звучали, и Сима не слышала его слов. А их было так много, и они были так горячи и прекрасны. Он не выдержал, задохнулся от непрозвучавших слов и бросился бежать. В темень осеннего вечера, в дождь, не разбирая дороги.

Я снова увидел загадочные глаза Ляли Пули, когда выплывал из мутной удушливой мглы. Надо мной покачивалось маленькое грязно-зеленое небо. Я стремился к нему, чтобы сделать поток чистого воздуха, но не мог помочь себе, подгрести руками, потому что был неподвижен. Так тяжело я выходил из наркоза. А когда вышел, вырвался на поверхность, то увидел брезент палатки, сквозь который едва проникал свет рождавшегося дня. И увидел глаза Ляли Пули. На

этот раз они показались мне не просто бесцветными, но прозрачными. И сквозь них, как сквозь линзы, я увидел близко-близко дом моего детства. Старый, весь в чешуйках отстающей краски, покрытый пылью веков. Когда-то у каждого подъезда была своя крыша, которая держалась на вынесенных к мостовой чугунных столбах. Столбы и крыши сняли на моих глазах и отправили на переплавку: время было тяжелое, стране не хватало металла.

Еще я увидел наш двор, засыпанный серебристыми, словно вырезанными из жести, листьями тополей. Пахло яблоками и прелой листвой. Стояла невнятная пора, когда осень еще держалась из последних сил и первый снег таял, едва коснувшись булыжников, словно они были горячими. Было мокро, как после дождя.

В такое утро по двору разнеслась весть: арестовали Симиного отца. За что, никто не знал, но поговаривали, что это дело рук Завбаня. Он ведь не простил Симе «старый веник».

В те дни Завбань вместо «толстовки», подпоясанной тонким кавказским ремешком, стал носить гимнастерку, стянутую широким командирским ремнем, хотя отставной заведующий банями никогда военным не был. Всем дворовым он запретил называть его Завбанем, требовал, чтобы к нему обращались официально — товарищ Глобов. Товарищ Глобов уже добровольно не стерел ящики с яблоками и не гонялся за ребятами, которым выпадало яблочко. Он охранял нечто большее. А что именно, никто не знал.

В один из таких дней Завбань, он же товарищ Глобов, лицом к лицу столкнулся с Лялей Пулей.

— Эй, Ляля Пуля! — сказал «старый веник», облизывая бублик. — А Малышева-то посадили. Кумекаешь?!

Маленькие глазки Завбаня при этом блестели, словно говорили, нет, кричали: «Это я! Это я посадил Малышева! Кумекаешь, Ляля Пуля!»

Ляля Пуля стоял неподвижно и загадочно смотрел на своего недруга. И Завбань подумал было, что любовь немого прошла, что ему безразлично, горе у Малышева или все в порядке.

— Правильно, — сказал Завбань, — от них надо того... подальше.

И тут Ляля Пуля «раскумекал» что к чему. Упругая волна подбросила его, он прыгнул и вцепился руками в дряблое, розовое горло Завбаня. Тот оцепенел, схватил Лялю Пулю за руки и все пытался отодрать их от своего горла. Но это оказалось не так просто. Накопленная обида немого обернулась силой.

— Пусти!.. Пус... ти, проклятый! — хрипел Завбань.

Его лицо налилось кровью, а губа-бублик побелела. Наконец ему удалось оторвать от себя нападавшего. Он отбежал в сторону и, потирая горло, закричал на весь двор:

— За жулика вступаешься! Ладно! Я тебе покажу! Ты у меня заговоришь... немой!

Он что-то еще долго кричал в пустом дворе, но Ляля Пуля не слышал его. Он ушел прочь.

Сима осталась совсем одна — ее мать умерла за год до этого. Люди сторонились ее. Старались с ней не заговаривать. Казалось, весь двор притих, потрясенный событием в доме Малышевых. Завбания стали побаиваться не только ребята, но и взрослые.

И тогда Ляля Пуля поднялся на третий этаж и решительно позвонил в двери Симиной квартиры. Она открыла дверь и была удивлена, увидев на площадке Лялю Пулю.

— Ляля Пуля? Здравствуй! Ты не боишься меня? Меня теперь все боятся.

«Пойдем со мной!» — глазами сказал Ляля Пуля и протянул ей руку.

И Сима впервые в жизни почувствовала власть Ляли Пули и обрадовалась этой власти.

Она ничего не стала спрашивать. Надела пальто, беретку, натянула резиновые ботинки. Пошли! Ей было все равно, куда идти, лишь бы не оставаться одной в пустой квартире, наполненной горем, лишь бы быть с людьми.

Ляля Пуля привел Симу в бывший каретный сарай.

— Будешь жить с нами,— мрачно сказал гостье отец Ляли Пули.— Мы — люди.

А Ляля Пуля стоял рядом и не сводил с Симы глаз, словно все это отец произнес от его имени.

«Это слово должно прозвучать. Оно должно подняться над миром, как дикая, прекрасная птица. Но пусть услышит его только один человек... Я учусь произносить это слово. Оно для меня самое важное, без него я — ничто. Это слово — единственный признак моей жизни. Если бы я смог заговорить на мгновение, только для того, чтобы произнести это слово... Это слово... Слово...»

Когда я окончательно пришел в себя и низкое небо навсегда превратилось в полог палатки, я стал ждать появления Ляли Пули, но так и не дождался. Мне рассказали, что в медсанбате действительно есть немой санитар. Он вольнонаемный, потому что немых в армию не берут. Но сейчас он отсутствует, сопровождает раненых и неизвестно, когда вернется.

Каждый раз, когда я приезжаю в родной город, иду на свою улицу, подхожу к дому, где прошло мое детство, заглядываю во двор. Там многое изменилось. Из трех больших тополей остался только один. Поверх булыжников положили асфальт. А старые каретные сараи превращены в какие-то мастерские. Во дворе теперь не пахнет яблоками: видимо, «плодоовощ» со своими ранетами, антоновками, розмаринами, как и конь Орлик, навсегда покинули наш двор.

Знакомых во дворе нет. Можно просто походить, повздыхать и медленно идти прочь.

И только Завбань, как призрак прошлого, сидит на скамейке, уронив голову на грудь, и дремлет. Говорят, ему пришлось держать ответ за содеянное. Но он отделался испугом. И вот замер, как старый поганый гриб, который все обходят, все боятся даже прикоснуться к нему. Он выжил... Догнивает свой век.

Но это рассказ не о Завбане, а о Ляле Пуле.

В балете «Жизель» заглавную роль танцевала Серафима Малышева. Я сидел в затихшем зале и ждал встречи с подругой детства, с девчонкой из нашего двора, с бывшей девчонкой. Я ждал этой встречи, затаив дыхание. Но когда погас свет и дирижер поднял руку с палочкой, похожей на прутик, я почувствовал на себе пристальный взгляд. Почти физически ощутил его и повернул голову. Недалеко от меня сидел Ляля Пуля. Он сильно изменился — отрастил бороду, седые волосы были подстрижены под бобрик. Но глаза, загадочные глаза Ляли Пули, с радужками, похожими на ледяные кристаллики, были прежними. Они смотрели на меня в упор.

Мне не у кого было расспросить, что связывает его с Симой. Может быть, она вышла за него замуж. А может быть, у нее своя жизнь. Но я понял, что Ляля Пуля навечно стал ее бессловесным спутником. И что он всегда рядом. И стоит ему почувствовать, что Симе что-то угрожает, и он кинется в бой против любого Завбаня.

Заиграл оркестр, и под звуки скрипок в полутьме зала я прочел в его взгляде затаенную радость: «Смотри внимательно, друг, как прекрасна моя Сима! Моя Сима... Моя Сима...»

## УЧИТЕЛЬ

Говорят, наступает время, когда Учитель становится не нужен. Он научил, чему мог научить, и — поезд отправился дальше, а Учитель остался один на пустой платформе. И если высунуться из окна, то долго еще будешь видеть маленькую, одинокую фигурку человека, провожающего поезд. Потом поезд превратится в точку, замрет железный стук колес, а он все будет стоять. И ему мучительно захочется остановить поезд, вернуть его, ведь с этим поездом навсегда уходит частица его самого, самая дорогая частица. А потом, когда вопреки его желанию поезд скроется и как бы растворится в тумане, сольется с полями и рощами, — Учитель оглянется и с удивлением увидит, что платформа полна ребят. Они нетерпеливо переступают с ноги на ногу, дышат в затылок друг другу, толкают соседей — ждут

своей очереди. И в их глазах написано: «Поторопись, Учитель, мы ждем тебя! Ты наш, и мы тебя ни с кем не желаем делить. Идем же, Учитель!»

И тогда Учитель сразу забудет об ушедшем поезде и о пустой платформе. Да никакой платформы и не было. Черная доска, как инеем, покрыта пылью мела. На окнах цветы примулы. На стене портрет академика Павлова...

У нашего Учителя были розовые уши, словно он только что пришел с мороза. Даже летом он тер их попеременно ладонью. Глаза у него подвижные, живые — два синих кружочка. На уроке они превращались в два маленьких экрана. В глазах Учителя извергались вулканы, сползали ледники и обрушивались дожди... из лягушек.

Я хорошо помню, как Учитель вошел в класс, энергично потер ладонью розовое ухо и с порога объявил:

— Вчера в Новой Каледонии выпал дождь из лягушек.

Класс подпрыгнул и громко рассмеялся.

— Лягушкам было не до смеха, — совершенно серьезно сказал Учитель. — Сильный ураган оторвал их от родного болота и со страшной скоростью понес над океаном. Беспомощно расставив перепончатые лапки, лягушки летели, как птицы. И, вероятно, жалобно квакали. Не думаю, чтобы им нравилось лететь. Потом ветер неожиданно ослаб, и лягушки вместе с потоками дождя стали падать на землю.

Мы посмотрели в глаза Учителю, и увидели себя с раскрытыми зонтиками, и почувствовали, как лягушки упруго плюхались на купола зонтиков. Девочки даже взвизгнули.

Однажды Учитель подошел ко мне, положил на плечо руку и сказал:

— У каждого из нас есть вечный двигатель. У тебя, например.

Ребята удивленно переглянулись, а я уставился в два синих экрана, ища в них ответа. Глаза Учителя загадочно светились.

— У меня нет... вечного двигателя, — сказал я.

— Есть.

Я задумался. Я перебирал в памяти все, что было у меня «движущего», — самокат, велосипед, ролики, самолетик с резинкой вместо моторчика. Ничего не двигалось само по себе и тем более вечно.

— Он всегда при тебе. Он и сейчас с тобой! — Учитель как бы играл со мной в «жарко-холодно».

Я пошарил в карманах, заглянул в портфель, но ничего похожего на вечный двигатель не обнаружил.

— Твой вечный двигатель у тебя в груди, — не сводя с меня глаз, сказал Учитель. — Это — твое сердце. Оно бьется день и ночь, зимой и летом. Без отдыха, без перерыва... вечно.

Я невольно приложил руку к груди и почувствовал слабые, мерные толчки своего сердца. В классе стало тихо, все ребята слушали, как работает их вечный двигатель.

Так Учитель постепенно открывал нам неведомый мир, и после его открытий жизнь становилась удивительной, почти сказочной. Обычные вещи он умел повернуть такой неожиданной гранью, что они сразу менялись и обретали новое значение. Но главная его наука ждала меня впереди.

Однажды в кино у меня произошла странная встреча. Я слонялся по людному фойе в ожидании начала сеанса и вдруг увидел нашу вожатую Аллу — высокую, светловолосую, в каплевидных очках. Рядом с ней сидел рослый десятиклассник. Они ели мороженое в вафельных стаканчиках и о чем-то оживленно разговаривали. Сперва я подумал, что обознался, но, когда не поленился и еще раз прошел мимо, сомнения мои развеялись — это были они. Я даже покраснел от возбуждения. Когда все толпой входили в зал, я потерял их из виду. Но потом обнаружил, что они сидят неподалеку от меня. Вместо экрана я смотрел на них. Я увидел, как десятиклассник положил руку на спинку стула, на котором сидела Алла. Но тут свет погас, и мне пришлось прервать мои наблюдения.

На другой день, пораньше прибежав в класс, я с нескрываемым удовольствием принялся рассказывать ребятам о своем открытии. Я рассказал про мороженое в вафельных стаканчиках и про спинку стула. И мы все очень веселились. Как вдруг я услышал покашливание и оглянулся — в дверях стоял Учитель. Он молча поманил меня пальцем, и мы вместе вышли в коридор.

— Сейчас ты вернешься в класс, — сказал Учитель, глядя куда-то мимо меня, — и скажешь, что никого не встречал в кино и что все это с мороженым и спинкой стула ты придумал.

— Но ведь я видел их!

— Да, ты видел их, но никому не должен был говорить об этом. Стыдно.

— Разве стыдно говорить правду? — спросил я и с вызовом посмотрел на Учителя.

— Эта правда не принадлежит тебе. Если люди выплеснут всю «правду», какую они знают о других, они захлебнутся. Не всякую правду человек должен знать о другом.

И тут я решил подловить Учителя. Я сказал:

— Значит, лучше соврать!

— Лучше смолчать, — сказал Учитель. — Ты знаешь, что такое чужая тайна? Это тоже правда. Но она принадлежит не всем. В данном случае она не принадлежит тебе. Ты разгласил чужую тайну — все равно что взял чужое. Подло!

Теперь я растерянно смотрел на Учителя и не знал, как ему возразить. А он сказал:

— Иди. И скажи, что ты все это придумал!

— Соврать? — резко спросил я.

— Ты сам пришел к этому. Значит, соврать... во имя правды.

Я уныло поплелся в класс и упавшим голосом объявил, что все это вранье, что никакую Аллу я не встречал, а десятиклассника вообще взял с потолка.

— Трепло! — сказал кто-то. Я проглотил насмешку.

Однажды меня ударил один верзила из старшего класса. Но это было полбеды. Он ударил меня на глазах девочки, которой мне очень хотелось понравиться. Я жестоко страдал. И тогда Учитель подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал:

— Ты должен побить его.

— Как побить? — Я вспыхнул от неожиданности.

— Очень просто. Как бьют.

— Но он сильнее меня, — пробормотал я.

— Сильнее тот, кто прав. Кто прав, всегда побеждает, даже если ему при этом достанется... Учти, женщины не любят битых.

После разговора с Учителем я долго не мог решиться. Но однажды превозмог себя и, борясь со страхом, поднялся на этаж, где учился мой обидчик. Я подстерег его у двери и, когда он вразвалочку вышел из класса, очертя голову бросился на него. Я даже сбил его с ног. И пока он ошеломленный внезапным нападением, еще не успел прийти в себя, я гордо удалился за стены крепости — в свой класс.

Я ничего не сказал девочке, которой хотел понравиться, но она все поняла по моему победоносному взгляду и еще по тому, как у меня от волнения дрожали коленки.

На другой день меня вызвала завуч, которую мы звали Катаклизма.

— Что это за новости? — воскликнула она, едва я переступил порог кабинета. — Кто научил тебя драться?

— Учитель! — с готовностью ответил я.

— Учитель? — От неожиданности завуч даже поднялась со стула. — Ты понимаешь, что говоришь?

— Понимаю, — сказал я и в ту же секунду понял, что не должен был этого говорить.

— То есть не Учитель... а я.. сам. Я решил... — Я бормотал что-то несвязное, но было уже поздно.

— А врать тебе тоже научил Учитель? — Катаклизма атаковала меня. Своими жесткими вопросами она загнала меня в угол.

— Да!.. То есть нет...

Я окончательно запутался. И чтобы спасти положение, шагнул вперед и чуть ли не закричал:

— Я сам побил его, потому что он первый побил меня. И я побил его потому, что женщины не любят битых.

— Что-о-о? — Лицо у Катаклизмы вытянулось и пошло пятнами. — Какие женщины?!

Глаза у Катаклизмы стали выпуклыми, и она прошла мимо меня таким решительным солдатским шагом, что паркет заскрипел, как морозный снег.

Прости меня, Учитель! Я предал тебя, но не потому, что сердце у меня черное, просто ты не успел научить меня взвешивать каждое слово. А может быть, умышленно не сделал этого, чтобы сохранить во мне непосредственность — самое прекрасное, что есть в человеке.

Но Катаклизме не удалось остановить вечный двигатель — сердце моего Учителя. Поезд мчится вперед. И когда бы я ни открыл вагонное окно и, жмурясь от встречного ветра, ни оглянулся назад, — я вижу пустую платформу и маленькую, одинокую фигурку человека, который вложил в меня частицу своего сердца. Он жив! Он задумчиво смотрит мне вслед, словно хочет убедиться, что я мчусь в верном направлении, и, может быть, он до сих пор видит во мне мальчика?.. Гремят колеса, ветер гудит в ушах. И я вижу, как по платформе бегут дети — наступая на пятки друг другу, они спешат к Учителю.

Мокрый желтый листок березы припечатал свою ладошку к стеклу. Первое сентября.

## ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ

Лелька сидит на крыльце и штопает чулок. Она поленилась разыскать грибок и штопает прямо на коленке. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то поднимает блестящее острие иглы. Розовая коленка постепенно скрывается под штопкой, похожей на листок тетради в клеточку.

Когда она наклоняется вперед, одна из косичек соскальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лелька недовольно водворяет косичку на место — за спину. Она делает это резко, как будто хочет забросить ее подальше раз и навсегда.

Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тянет за собой рыжую нитку. Лелька так увлеклась работой, что не замечает, как отворяется калитка и кто-то входит в палисадник. Когда девочка поднимает глаза, перед ней стоят Федор Федорович, председатель поселкового Совета, и незнакомый военный. Лицо Федора Федоровича коричневое, испеченное на солнце. А военный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном солнышке. В одной руке он держит зеленый чемодан, в другой, согнутой в локте, — шинель.

— Здравствуй, хозяйка, — говорит Федор Федорович.

— Здравсте, — отзывается Лелька и встает со ступеньки.

Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у Лельки, вероятно, смешной, потому что военный отворачивается в сторону, чтобы скрыть улыбку.

— А где мать? — спрашивает Федор Федорович.

Он спрашивает, а военный молчит. Стоит за Федором Федоровичем и из-за плеча смотрит на Лельку. Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан короткий.

— Мама пошла в селпо,— отвечает Лелька и краснеет. Иголка выскальзывает из рук и раскачивается на нитке.

— Ну, вот что,— говорит Федор Федорович,— ты, конечно, слыхала про снаряды?

Лелька мотнула головой. Она слышала, что в степи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся землянку со снарядами — артпогребок. Артпогребок был брошен немцами много лет назад. А теперь нашелся. Говорят, что он заминирован.

— Так вот,— продолжает председатель поселкового Совета.— Прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы поместили в школе, а командира...— Федор Федорович кивает на военного и слегка подталкивает его вперед,— а командира мы хотим определить к вам.

Лелька снова кивает.

— Места у вас много. Думаю, мать возражать не будет?

— Ага,— соглашается Лелька, будто она заранее знает, что мать возражать не будет.

— Тогда знакомьтесь. Лейтенант...— Федор Федорович вопросительно смотрит на военного.

— Шура,— подсказывает он.

— Лейтенант Шура... А это Лелька.

— Очень приятно,— говорит лейтенант, а Лелька снова краснеет. Она ничего не может с собой поделаться. Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо, обдаёт его жаром и отравляет Лельке жизнь.

Девочка покраснела, будущий жилец отвернул лицо, чтобы скрыть улыбку, а Федор Федорович почесал седую щетину, которая проступает, как соль, на его запеченной, коричневой щеке.

— Сейчас мы пойдем в степь,— распоряжается председатель.— Вещи лейтенанта оставим здесь. А придет мать, ты предупреди ее.

Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопросительно смотрит на Лельку.

— Можно здесь поставить?

— Ага! — кивает Лелька и закусывает губу, будто губа — виновница ее смятения.

Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан, положил на него шинель.

— Пошли! — почти скомандовал Федор Федорович.

И они зашагали к калитке.

Когда неожиданные гости ушли, Лелька облегченно вздохнула и опустилась на ступеньку, согретую солнцем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла подолом сарафана заштопанную коленку.

Рядом, на ступеньке, стоял чемодан, и на нем лежала сложенная пополам шинель. Шинель была серой и шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело поблескивали звездочки: по две на каждом.

Лелька покосилась на чужие вещи и быстро стянула с ноги заштопанный чулок. Будто вместе с чемоданом и шинелью в доме остался жилец и его насмешливые глаза продолжали рассматривать Лельку, отыскивая, над чем бы посмеяться.

Лелькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее, на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнатку, «для гостей». Когда приезжал дядя Митя, его помещали на втором этаже. С тех пор гостей не было. Но за комнатой сохранилось название «для гостей». Вот туда-то Лелька и решила определить жильца.

По крутой лестнице она полезла наверх с чужими вещами. Зеленый чемодан ударялся о верхние ступеньки, а шинель волочилась по нижним.

В комнате «для гостей» не было почти никакой мебели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убранство. Зато из маленького окошка была видна степь.

Лелька поставила вещи лейтенанта Шуры в уголок, чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют, и, хлопнув дверью, сбежала вниз.

Лейтенант Шура вернулся домой поздно.

Солнце докатилось до края степи и растеклось по небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохладный ветерок, который днем, в присутствии солнца, не разрешал высунуть на улицу нос. Но земля продолжала дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли последние угольки.

Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоровича. Лелька увидела его из окна. Она ждала его возвращения и, хотя во дворе стояла жара, надела новое платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок!

Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жильца. Поначалу, узнав от дочери о неожиданном госте, она вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие люди!» Но потом стала сама себя убеждать, что места в доме достаточно, что сама она все равно целыми днями пропадает в своей больнице. И вообще жилец — временный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня приводила дом в порядок: ей не хотелось ударить лицом в грязь перед незнакомым человеком.

Услышав, что хлопнула калитка, Лелька подбежала к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и оглядывался. Лицо его было усталым и серым от земли. И только в том месте, где текли струйки пота, остались светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и веселые звездочки на погонах погасли. На высоких сапогах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант держал в руках.

Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не похож на того веселого чистенького лейтенанта, который стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза

перестали быть насмешливыми. Он беспомощно смотрел по сторонам, отыскивая хозяев дома.

Лельке вдруг стало жалко лейтенанта Шуру. Она быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке.

— Здравствуйте,— сказала Лелька.

Лейтенант улыбается и почему-то надевает фуражку. Он говорит:

— Вот, я пришел.

— Заходите,— приглашает Лелька.— Мама дома.

Лельке очень хочется, чтобы лейтенант обратил внимание на ее новое платье, а главное — на целые чулки. Но лейтенант рассматривает не Лельку, а самого себя. Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимнастерку и говорит:

— В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы почиститься. А то весь день в земле копался.

— Сейчас,— говорит Лелька и скрывается за дверь.

Лейтенант Шура не торопясь доходит до крыльца и опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах.

На другой день Лелька проснулась рано. Она приподнялась на локте и выглянула в окно. Из палисадника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они были круглыми, как блюдечки... По одному блюдечку ползла оса.

Лелька услышала над головой шаги. Шаги были тихие, босые. Потом один за другим раздалось два притопа — кто-то надевал сапоги.

Лелька вспомнила о временном жильце. Это он пробудился в комнате «для гостей» и встал, чтобы отправиться к заминированному артпогребку.

Лелька крепко зажмурила глаза. Пусть мама думает, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что происходит в доме. Тут-тук-тук!.. Жилец спускается по лестнице. Тут-тук!.. Идет по сеним. Потом хлопнула дверь, и шаги замерли. Лелька уже подумала, что жилец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате.

— Зарядку делаете? — тихо спросила мама.

— Привычка,— шепотом ответил жилец.

Он говорил шепотом, чтобы не разбудить Лельку. А его сапоги так гремели, что могли разбудить кого угодно.

Лелька слышала, как урчала, наливаясь в стакан, крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, звенела ложечка.

Мамин голос говорил:

— Ешьте, не стесняйтесь.

А голос жильца отвечал:

— Спасибо... Спасибо...

Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо! Мне пора», — и сапоги рассказали, что он уходит из дома.

Лелька тихо сползла с постели и, ступая босыми ногами по чистым половицам, подошла к окну.

Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисаднику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле держался на ногах. А сегодня жильца словно подменили. Будто ночью он искупался в «мертвой» и «живой» воде и снова превратился в доброго молодца. Сапоги блестели, как новые. Звездочки на погонах зажглись. Лейтенант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек, что с невидимого наблюдательного пункта за ним следят два внимательных глаза.

Когда временный жилец скрылся из виду, Лелька села на постель и впервые за много дней занялась своими косичками.

Лелька относилась к своим косичкам с черствостью мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со стороны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она не украшала косы шелковыми лентами, как это делали ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тряпочками, скрученными в жгут.

Этим утром, сидя на постели, Лелька долго и неторопливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные блики играли и переливались в тонких ласковых прядках.

Неожиданно Лелька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. Их Лелька вплела в косички и завязала бантами.

Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. И Лелька не скачет через две ступеньки, а ходит плавно и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется, что лейтенант Шура смотрит на нее.

Лелька на цыпочках подходит к зеркалу и рассматривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой, как библиотекарша Клавдия. А она маленькая и белесая. И кончики ушей у нее малиновые, а это, должно быть, некрасиво. Лелька смотрит на себя и сердится, будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию.

Лелька долго стоит перед зеркалом. И вдруг, спохватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза, словно боится встретиться взглядом с насмешливыми глазами лейтенанта Шуры.

Вечером временный жилец возвращается со своей военной работы. Он проходит через палисадник и садится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной ветер запекли его белое лицо, и оно стало коричневым, почти таким же, как у Федора Федоровича.

Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвижно. Потом упирается носком одного сапога в задник другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим хозяином.

Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шура не любит мыться под

умывальником. И, вернувшись с полным ведром, он зовет Лельку:

— Леля, а Леля! Полей, пожалуйста!

Лелька тут же оказывается рядом с Шурой. Она берет в руки эмалированную кружку и начинает лить: сначала в ладони, сложенные «тарелочкой», а потом прямо на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет пар.

— Побольше лей! Не жалея воды! — командует лейтенант.

Временный жилец моется, как папа. А Лелька поливает ему, как это делала мама. И, как мама, она подает ему свежее полотенце.

Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура надевает чистую невоенную рубашку и отправляется ужинать.

А потом садится на скамейку перед палисадником. Он отдыхает.

Лелька не решается сесть рядом с ним. Тогда он сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жизни и о своей службе.

— Вот послужу еще годок-другой, — задумчиво говорит Шура, — и женюсь. Пора. Правда? — спрашивает он серьезно Лельку.

Лелька заливается краской и молчит. Откуда она знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант Шура советуется с ней о своей женитьбе?

— А впрочем, что загадывать, — продолжает он. — Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает...

Лелька вопросительно смотрит на собеседника. И он говорит:

— Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-нибудь крохотный проводок задел — и в небо! Что ты думаешь! Вот ваш артвогребок такая штучка, что того и гляди ошибешься... Когда мы разминировали Брянские леса, легче было. А здесь головоломка.

Лельке вдруг становится страшно за лейтенанта Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему приятно, что Лелька переживает. И еще ему приятно делать вид, что для него опасность — ничто, суший пустык.

Иногда лейтенант обнимал Лельку и трепал ее по плечу. Лелька краснела и боялась шелохнуться. А лейтенант Шура говорил:

— Пора, брат, спать! А то завтра рано подъем.

И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату «для гостей». А Лелька еще долго сидела на скамейке.

Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим войском в степь. Войско было небольшое — десять солдат. Они шли цепочкой по обочине, чтобы не поднимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще какие-то непонятные инструменты. А командир шел по дороге.

Временный жилец не знал, что Лелька крадучись выскальзывала из калитки и долго смотрела ему и его войску вслед. Он был уверен, что Лелька в это время крепко спит.

А она никогда не просыпала. Ее глаза провожали саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Потом они спускались

в балку и пропадали из виду, но вскоре появлялись снова на другой стороне. Их фигурки становились все меньше и меньше и, наконец, терялись в голубой дымке степного марева, оставив после себя чуть заметное облачко пыли.

Лелька знала, что лейтенант Шура и его товарищи шли не просто работать, хотя на плечах они несли лопаты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в старом артогребке, куда каждое утро направлялись саперы, был уцелевший островок войны с опасностью, со смертью, которая притаилась в ржавых немецких снарядах и только ждала удобного случая, чтобы нанести людям запоздалый удар.

Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру в степь, Лелька испытывала такое чувство, будто провожает его в бой. Ей казалось, что происходит величайшая несправедливость: тысячи людей вокруг живут спокойной, мирной жизнью, и только одиннадцать каждый день ходят на войну.

Лелька стоит у калитки и смотрит в степь до тех пор, пока из окошка не выглядывает мама.

— Ольга, завтракать,— зовет она.

Мама называла Лельку Ольгой.

В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за своим войском. И потом они шли степной дорогой: солдаты по обочине, командир посредине дороги. Обычно солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может быть, им командир приказал петь?

Лелька глядит им вслед и старается различить слова незнакомой солдатской песни. Но слова остаются в степи, а до Лельки долетает только мелодия. Так Лельке и не удается узнать, о чем поют солдаты. Но ей становится грустно. Ей кажется, что маленькое войско лейтенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и выйдет к морю. И больше никогда не вернется в поселок. И Лельке хочется кинуться им вслед. Догнать, пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с солдатами. Или лучше по дороге — рядом с Шурой.

Но Лелька продолжает стоять на месте, а потом опускается на скамейку.

В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цветы залили степь широким разливом. Она издает тонкий аромат. И утренний свежий ветер пахнет лавандой.

Лелька закрывает глаза. Она слышит, как рядом на своей зеленой машинке заработал кузнечик... Скрипнула дверь... Курица заговорила скороговоркой на курином языке... Потом пробудился репродуктор, и совсем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пахнувший лавандой.

Постепенно к Лельке возвращался покой. Солнце касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую нижнюю губу, и колени, и цветы на сарафане, которые не вянут, будто их стебельки опущены в воду. Никто не зовет Лельку. Никто не тревожит ее.

И она засыпает.

И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром среди ясного неба. И сразу же звуки исчезли, будто грохот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-накрест.

Лелька открыла глаза.

Чугунное эхо тяжело катилось по степи. А за пригорком выросло большое черное дерево. Оно шевелило своими косматыми ветвями. Потом дерево стало оседать, будто кто-то подпилил его. И тут Лелька проснулась окончательно. Она поняла все: лейтенант Шура ошибся в первый и последний раз... Это артпогребок взлетел на воздух.

У Лельки заколотилось сердце. Она вскочила с места и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где оседало и разваливалось дерево смерти — земля, поднятая взрывом.

Лелька бежала до тех пор, пока не наступила на что-то острое. Она остановилась от боли. Подняла ногу. На дорожной пыли адело пятнышко крови. Пятка горела. Лелька сорвала подорожник и приложила его к пятке. Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину, будто искало выхода, чтобы вырваться наружу.

Лелька вдруг представила себе лейтенанта Шуру, лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь сейчас было еще утро. Лелька сделала несколько осторожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ранки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли.

До места взрыва было уже недалеко.

Лелька стоит на краю балки и никак не может отдышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут. Вокруг валяются свежие комья земли, выброшенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шершавой ножке растет мак. Как это он уцелел от взрыва?

Шура берет котелок и, запрокинув голову, пьет. Вода течет по подбородку. Остаток воды он выливает на мак. Потом он ставит котелок на землю, оглядывается и видит Лельку.

— Ты что здесь? — удивленно спрашивает он.

— Я... я... ничего, — отвечает Лелька.

Она недоверчиво смотрит на живого лейтенанта Шуру. Правда ли это? Значит, он не ошибся? Почему же тогда был взрыв? А может быть, взрыв приснился Лельке? Ее большие серые глаза еще лихорадочно горят: еще не прошла тревога за человека, который сидит перед ней цел и невредим.

— Ты что, испугалась? — спрашивает лейтенант Шура. — Взрыва испугалась?

Глаза его смеются. Они замечают в Лелькиных глазах испуг, который не сразу проходит.

— Я думала, вы ошиблись,— признается Лелька, не сводя глаз с Шуры.

Теперь лейтенант Шура уже смеется вслух.

— Ошибся? Если бы ошибся, мы бы уже с тобой не разговаривали...

Шура никогда не обращает на Лельку особого внимания, а тут он пристально смотрит на нее. Смотрит и замечает на ее ноге кровь.

— Что это у тебя с ногой? — спрашивает он.

— На стекло наступила,— отвечает Лелька и прячет раненую ногу за здоровую.

— Ну-ка, покажи! — почти командует Шура.

Он усаживает девочку рядом с собой и разглядывает раненую пятку. Ранка кровотоцит. Шура кричит через плечо:

— Кузьмин, принеси-ка мне котелок воды и индивидуальный пакет!

Он берет Лельку за руку и заглядывает ей в глаза.

— Что ж ты босиком по степи бегаешь? — спрашивает он.

Лелька молчит. Разве может она рассказать, как, забыв обо всем на свете, бежала туда, где грянул взрыв?

Кузьмин молча принес воду и бинт. Лейтенант Шура прямо из котелка льет воду на ранку. Он держит Лелькину ногу за лодыжку.

— Сама! — говорит она.

— Сиди! — командует Шура.

И Лелька сидит неподвижно. Она подчиняется приказу, но чувствует, что вот-вот покраснеет.

Потом лейтенант Шура с треском разрывает бумажный пакет и достает оттуда прохладный бинт. Белые плотные нитки пеленают ногу. Лелька не чувствует боли. Она смотрит в сторону и теребит травинку. С каждым витком бинта ее глаза становятся все теплее и теплее.

— Кузьмин! — зовет лейтенант, закончив перевязку.— Строй людей. Пойдем домой. Сегодня можно и отдохнуть.

Кузьмин большой и молчаливый. Кажется, ему знакомо только слово «слушаюсь». Лицо у Кузьмина все в рыжих веснушках. Но Кузьмина веснушки не расстраивают. Так по крайней мере кажется Лельке.

И вот, идут через степь. Солдаты — по обочине, а Лелька с лейтенантом Шурой — по дороге.

Может быть, они идут не домой, а к морю, как мечтала Лелька?

Лельке трудно идти. На пятку наступать больно, а на носке далеко не уйдешь. Она ступает медленно, припадая на забинтованную ногу, и лейтенант со своим войском тоже идут не торопясь. Как Лелька.

Лейтенант Шура сегодня разговорчив.

— Ты знаешь, что наш погребок шарахнуло? — спрашивает он и громко смеется.— Слышишь, Кузьмин? — обращается он к своему помощнику.— Она думала, что это мы в небо взлетели.

Кузьмин улыбается вежливо, но, верный себе, не произносит ни слова.

— Нет, Лелька,— говорит лейтенант Шура,— это мы половину богатства погреба оттащили в сторону и взорвали. А ты испугалась.

Лейтенант Шура все говорит, говорит... А Лелька идет молча и лишь изредка посматривает на своего временного жильца. Она думает о том, что все настоящие мужчины должны делать что-то трудное и опасное. Папа воевал, и Федор Федорович был на войне. Вот и Шура тоже... Ей вдруг хочется взять его под руку. Но от одной этой мысли лицо заливают краска стыда.

А солдаты вдруг запели. Они запели сами, без приказа командира. Они поют рядом, и теперь Лелька может расслышать слова их песни:

Солнце скрылось за горою,  
Затуманились речные перекаты.  
А дорогою степною  
Шли домой с войны советские солдаты.

И Лельке кажется, что солдаты идут с войны и она с ними тоже идет с войны. И лейтенант Шура возвращается домой героем.

Как это случилось, что после взрыва в степи временный жилец окончательно завладел Лелькиными мыслями? Она забыла обо всех своих подружках и целые дни проводила дома. Напрасно, проходя мимо Лелькиного дома, ее одноклассницы кричали:

— Лель, а Лель, пошли в степь маки собирать!

— Лель, пошли купаться в Сырую балку!

Лелька качала головой:

— Мне некогда!

А какие у нее дела, если вторую неделю идут каникулы?

Сидя на ступеньке крыльца, Лелька тревожно прислушивалась к каждому звуку, который доносился из степи. «Вдруг он оступится, вдруг он заденет проводок...» — так думала Лелька, и сердце ее холодело. Ей на память приходила картинка к стихотворению Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Там был изображен Олег у праха своего верного коня. Вот-вот подползет змея и ужалит князя... Вот-вот невидимый проводок хрустнет под ногой Шуры...

А в это время лейтенант лежал на земле, задержав дыхание, колонковой кисточкой очищал тонкий, как волосок, проводок, от которого зависела его жизнь и жизнь десятки солдат. Взгляд его был сосредоточен, а по скуле ползла тяжелая капелька пота.

Временами он останавливался, переводил дыхание, закрывал глаза. И снова начинал свой рискованный солдатский труд.

А Лелька ждала временного жильца. Ей нужно было, чтоб он не ошибся и, если можно, пораньше вернулся домой. Вот и все.

Лейтенант Шура все реже и реже бывал дома. Утром Лелька видела его в окно. А вечером помогала ему умываться. Потом он наспех ужинал и тут же уходил. Усталость уже не валила его с ног.

Куда он спешил? К своим солдатам, в школу?

У лейтенанта Шуры были две пары сапог. Одни тяжелые, кожаные, боевые сапоги. В них он уходил в степь раскапывать немецкий артогребок. Другие сапоги — защитного цвета, легкие, сшитые из старой брезентовой плащ-палатки. По возвращении домой временный жилец сбрасывал боевые сапоги и надевал брезентовые. После тяжелых кожаных брезентовых сапоги вообще не чувствовались на ноге.

Однажды вечером, вернувшись из степи, лейтенант Шура торопился больше обычного. Он умчался, даже не почистив свои боевые сапоги. Они так и остались стоять у крыльца — пыльные, тупоносые, с комьями засохшей глины. Вид у них был усталый и обиженный. Сапоги ни разу не подвели своего хозяина: не оступились, не задели невидимых смертоносных проводков. Они преданно служили ему, а он бросил их на произвол судьбы.

Лелька подошла к сиротливым сапогам и остановилась перед ними. Она взяла один из них за ушко, торчащее из голенища, и подняла над землей. Сапог было тяжелый. От него шел жар. Лелька опустила ушко, сапог грузно плюхнулся на землю. Казалось, он сердито притопнул.

И тогда Лелька решила привести сапоги в порядок. Она принесла ведро воды, тряпку и стала их мыть. Она поливала сапоги водой и терла их тряпкой. Глина отваливалась. Мутные ручейки стекали с голенищ. Сапоги остыли, кожа стала прохладной.

Лелька поставила их в траву и пошла за щеткой. Она намазала их черным жирным гуталином, а потом терла щеткой. Она терла их так долго, что сапоги не выдержали: перестали дуться и наконец улыгнулись Лельке.

Боевые сапоги были довольны, они сияли. А Лельке почему-то стало грустно. Она поставила сапоги на крылечко и села рядом с ними. Она поджала коленки и закрыла их подолом сарафана. И так они долго сидели втроем: два сапога и Лелька.

В летние вечера поселок засыпал поздно. За день навоевавшись с жарой, люди подставляют лицо прохладному дыханию степи. Они сидят на лавочках и не торопятся уйти домой.

Фосфорятся белые цветы табака. Верещат невидимые цикады. Где-то навзрыд кричит ослик: жалуется на свою судьбу.

Но вот уже последняя гармонь отправилась на покой. Зажмурились лампочки в окнах клуба: им тоже настала пора отдохнуть. А лейтенант Шура все не возвращался домой.

Лелька не может уснуть. Она ворочается с боку на бок. Закрывает глаза. Сон не приходит.

«Спи!» — приказывает себе Лелька.

Но как выполнить приказ, если тревожные мысли не покидают тебя на минуту.

— Идет один верблюд... Идет второй верблюд...

« Спи! »

Не помогают верблюды. Даже самый большой караван не может усыпить Лельку.

Где он? У своих солдат? Но солдаты давно спят: им вставать ни свет, ни заря.

Лелька лежит с открытыми глазами. Она уже не старается заснуть.

И вдруг в тишине Лелька слышит шаги. Дорожки в поселке посыпаны галькой. Ее привезли с моря. На гальке шаги звучат отчетливо и ясно.

« Он! »

Лелька вздрагивает и прислушивается.

« Конечно, он! »

Она соскальзывает с постели и на цыпочках идет к окну.

Было темно.

Луна еще не взошла, а у дальних звезд не хватало сил осветить узенькие улочки степного поселка.

Лелька затаила дыхание и прислушалась. Морская галька рассказала ей, что по дорожке шагал не один человек, а двое. Рядом со спокойными мужскими шагами звучали другие — плавные женские шаги. Лелька болезненно поморщилась.

У палисадника шаги затихли. И тут Лелька услышала голоса.

— Давай посидим на скамеечке, — говорил Шуриный голос.

Лелька сразу узнала его.

— Уже поздно, — отвечал женский голос.

— Ну, прошу тебя.

— Неловко.

— Ничего. Все спят.

Лелька вслушивалась. Она хотела узнать, кому принадлежит женский голос. И она узнала. Это была Клавдия — клубная библиотекарша. Лелька увидела ее — высокую, черноволосую, с ровными, будто нарисованными угольком бровями. Лелька увидела ее не глазами, а памятью.

За окном было тихо, можно было различить шорох каждой травинки. Лелька слышала, как зашуршало платье. Тонко скрипнула доска. Это лейтенант Шура и Клавдия сели рядом на скамейку.

Лельку от них отделяли невысокая глиняная ограда и тонкие стебли мальвы. Но ей казалось, что, если протянуть руку, можно коснуться Шуриного плеча. Лелька спрятала руки за спину и попятилась.

Лелька слышала, как, болтая ногой, Шура задевал камушки гальки.

Потом она услышала их дыхание. И Клавдин шепот:

— Шура, ведь ты меня не любишь.

Лелька закусил губу. Она понимала, что подслушивать гадко и даже подло. Но сейчас она не могла отойти от окна. Маленькая

надежда удерживала ее. «Шура, ведь ты меня не любишь». Что ответит Шура?.. Может быть, он скажет Клавдии: «Нет»? Ладно, пусть он ничего не ответит. Пусть он только молчит.

Но Шура ответил:

— Люблю.

Лелька стояла у открытого окна в одной рубашке. И сердце ее стучало так громко, как тогда в степи, во время взрыва. Но ни Шура, ни Клавдия не слышали ударов Лелькиного сердца.

И вдруг Лельке стало очень холодно. Холодно рукам, плечам, коленкам. И Лелька поняла, что никакие, даже самые теплые одеяла не согреют ее. Этот холод веял не из степи, а шел откуда-то изнутри.

Лелька бросилась в постель. Она натянула одеяло на голову. Она закрыла уши, чтобы не слышать ни одного слова. Она почему-то вспоминала, как неделю назад на этой же скамейке временный жилец говорил ей: «Вот послужу еще годок-другой и женюсь».

«Так ведь не прошел еще годок! Что же это он!..»

Слезы текли по Лелькиным щекам. Лелька плакала молча. Про себя. Сейчас она навсегда просталась с лейтенантом Шурой, хотя он еще никакуда не уезжал. Она просталась с его маленьким войском, и с молчаливым Кузьминым, и с алым маком, который устоял во время взрыва... Лельке было жалко себя и всего, что уже никогда не вернется. И слезы становились все горше.

В какое-то мгновение девочке захотелось вскочить с постели и прогнать со своей, Лелькиной, скамейки временного жильца и черноволосую библиотекаршу. Но она не пошевелилась.

Утром Лелька поднялась поздно. Лейтенант Шура давно уже ушел в степь со своим маленьким бесстрашным войском. Мама не вернулась с ночного дежурства. Солнце заполнило комнату. От его желтых лучей пахло лавандой. По сиреневым блюдечкам мальвы ползали осы.

Лелька села на постель. Косичка соскользнула с голого плеча. Лелька взяла ее в руку, враждебно посмотрела на нее, но не отбросила. Не выпуская из руки, она подошла к комоду и взяла большие темные ножницы. Она широко раскрыла их и начала резать косичку.

Ножницы были не очень острыми, а Лелька торопилась, словно боялась, что изменит свое решение. И резать было трудно. Когда одна отрезанная косичка упала на пол к босым ногам, Лелька принялась за другую и вторую косичку тоже отрезала. Потом она отложила ножницы и подняла с пола две отрезанные косички. Она посмотрела на них равнодушно, как на чужие, и без сожаления отложила в сторону. Они были уже не нужны.

Несколько дней Лелька не виделась с временным жильцом. Утром она вставала уже после его ухода, а вечером, чтобы не попадаться ему на глаза, уходила к подругам. И лейтенанту Шуре приходилось

умываться под бренчащим умывальником. И если он не успевал почистить сапоги, то они так и оставались пыльными, с присохшими комьями глины.

В субботний вечер Лелька и временный жилец случайно встретились в клубе. Лейтенант Шура как ни в чем не бывало улыбнулся своей маленькой хозяйке. Лелька опустила глаза и залилась краской. Но, совладев с собой, посмотрела на лейтенанта и сказала:

— Здравствуйте!

Она произнесла приветствие сухо и даже немного насмешливо. Лейтенант Шура пожал плечами, помахал ей рукой и пошел дальше. Наверно, он спешил к своей библиотекарше Клавдии.

Он даже не заметил, что Лелька отрезала косички...

## СОЛНЦЕ С БЕЛЫМИ ЛУЧАМИ

Дети прибежали домой и, перебивая друг друга, стали рассказывать о своем открытии:

— Мама, мы нашли странный цветок!

— Он растет за домом, около клена с красными листьями.

— Мы не знаем его названия. Белое колесико с желтой сердцевинкой.

— Он похож на маленькое солнце с белыми лучами. Ты не знаешь, что это за цветок?

Они все еще не могли отдышаться, а замолчать тоже не могли. Им хотелось поскорее все высказать маме.

— Он пахнет корицей.

— Вовсе нет! Он пахнет солнцем.

— Солнцем? — Мама подняла брови, и глаза ее заблестели. — Разве можно понюхать солнце?

— Если наклониться пониже, можно. И на носу остается желтая пыльца. Смотри!

Два маленьких носа поднялись к маме. Кончики носов были желтыми.

— Не знаю, о каком цветке вы говорите, — сказала мама и вытерла желтую пыльцу с ребячьих носов. — Может быть, вы придумали этот цветок. Хотя от придуманных цветов носы не бывают желтыми. Пойдемте!

И они зашагали к клену с красными листьями.

Присели на корточки и стали разглядывать цветок, неожиданно распустившийся в саду. Цветок действительно был похож на белое колесико с желтой сердцевинкой, но и на солнце с белыми лучами был похож тоже. Все зависело от того, чьи глаза на него смотрели.

— Значит, не ты посадила этот цветок,— сказали дети, и в голосе их прозвучало разочарование.— Кто же посадил его? Папа?

Мама пожала плечами.

— Я слышала, что раньше... очень давно цветы появлялись сами и неожиданно. Никто этому не удивлялся, люди просто радовались, словно встретили старого знакомого на улице или на вокзале.

— Неужели цветы могут появляться сами?!

— Только в сказках цветы появляются сами!

Четверо глаз с недоумением смотрели на маму.

— Может быть, этот цветок появился по ошибке? — сказала мама.

— По ошибке ничего хорошего не получается,— сказали дети.— Наверное, папа решил сделать нам подарок, всем троим сразу.

И они стали ждать отца. И все это время они разглядывали цветок, поливали, заслоняли от яркого солнца. Постепенно все три носа стали желтыми.

Когда отец вернулся с работы, оказалось, что никаких цветов он не сажал. Он долго рассматривал незнакомое растение, измерил рост стебля и диаметр колесика. Все тщательно записал в книжечку и, наконец, сфотографировал открытие своих детей. А дети терпеливо ждали, что скажет отец.

Он сказал:

— Вероятно, семечко этого цветка занесло ветром из жарких стран, где растет много экзотических растений.

Приходили соседи, разглядывали таинственного новосела. Одни говорили, что в природе появился новый вид. Другие не исключали, что цветок — инопланетянин, а семечко занесло на землю потоком космических частиц. Третьи глубокомысленно молчали.

Но никого цветок не оставил равнодушным. Одним он напоминал колесико с желтой сердцевинкой, другим — маленькое солнце с белыми лучами. И все уходило с желтыми носами. А цветок одиноко стоял в траве и покачивался от ветра на тонком стебельке.

И тогда дети вспомнили о бабушке.

Обычно о бабушке они редко вспоминали, а тут вспомнили и привело ее в сад. Бабушке было сто лет, а может быть, двести, но дети умели считать только до ста. Бабушка жила не только с ними, но и еще в каком-то далеком времени, о котором люди знали только по книгам. Отец называл бабушку «живая история».

Бабушка долго смотрела на цветок и молчала. Потом она сняла очки, словно они мешали ей рассмотреть удивительное растение, и тут дети заметили, что в глазах у бабушки слезы.

— Что с тобой, бабушка?

— Может быть, от этого цветка у тебя аллергия?

— Тогда мы сорвем его и выбросим.

— Нет, нет,— заволновалась бабушка.— Никакой аллергии. Все в порядке.

— Почему же у тебя на глазах слезы?

— Цветы всегда напоминают людям детство,— сказала бабушка и легкой сухой рукой смахнула слезу.

— Разве, вспоминая детство, плачут? — спросили дети.— У тебя было тяжелое детство?

— Нет,— ответила бабушка,— у меня было хорошее детство. Я просто встретила старого знакомого, как встречают на улице или на вокзале.

— Как же зовут... старого знакомого?

— Ромашка,— тихо произнесла бабушка.

— Ро-маш-ка,— по складам повторили дети.— Правильно? Мы никогда не слышали про ромашку. Она из Африки или из Австралии?

— Она из моего детства. Когда-то давно ромашек было очень много. Они покрывали поля, пригорки, росли в лесах и на берегах рек. И людям казалось, что выпал снег. Теплый летний снег. Я помню, мы из ромашек плели венки.

— Какие венки? — Это слово было непонятно детям.

— Маленькие обручи из ромашек. Мы плели их и надевали на голову,— объяснила бабушка.

— Маленькие обручи из ромашек окружали голову?

— А что было потом?

— Потом,— тихо сказала она,— мы бросали венки в реку и они плыли по течению.

— Как спасательные круги?

— Они спасали тех, кто не умеет плавать?

Бабушка улыбнулась.

— Мы думали, что венки поплывут по рекам, по озерам, по морям. И никогда не увянут, потому что кругом вода. Может быть, наши венки и сейчас плавают где-то.

— И, может быть, эта ромашка — семечко от того венка?

Бабушка ничего не ответила, а детям казалось, что она рассказывает им забавную сказку, в которую сама верит. А бабушка прижала головки детей к себе, и сказка перестала быть забавной.

— Когда я провожала дедушку на войну, то подарила ему ромашки.— Она говорила медленно, трудно ей было вспоминать, но стоящий под кленом цветок как бы помогал ей.— Дедушка ушел на войну с ромашками. А с войны ромашки вернулись одни. Их жгли пожары, давили гусеницы танков, блестящие, как плуги, срезали автоматные очереди, но ромашки вернулись, а дедушка остался... там.

Белое колесико с желтой сердцевинкой было живым, оно встречало человека весной и катилось рядом с ним до осени. От детства до старости человеку светило маленькое солнце с белыми лучами. И от этого жизнь становилась прекраснее.

А потом ромашек становилось все меньше. Их безжалостно срывали, каждый, кто проходил мимо, срывал.

— Зачем?! — Четыре непонимающих глаза смотрели на бабушку, а она молчала, не знала, что ответить.

Дети искали ответа на свой вопрос, строили догадки:

— Наверное, из ромашки делали лекарство, которое спасало людям жизнь!

— Может быть, из нее извлекали витамин роста.

Бабушка покачала головой:

— Ромашку срывали просто так.

— Просто так не бывает! — воскликнули дети. — Просто так ничего не делается. Если ромашки не приносили пользу, то, может быть, от них был вред? Вот их и рвали...

Бабушка опустила в траву и низко наклонилась к ромашке. Ее губы шевелились, словно она что-то шептала своей старой знакомой. Может быть, рассказывала ей о своей жизни.

Бабушка посмотрела на детей внимательно, и глаза ее стали сухими.

— Мы виноваты перед вами, дети! Не уберегли ромашку. Самый родной цветок нашей земли не уберегли, и он стал для вас чужим, как инопланетянин. Теперь ромашка уже не вернется.

— Вернется, — сказали дети. — Одна ромашка уже вернулась, — сказали дети. — Мы будем охранять ее, а когда придет осень, соберем семена. И весной вернутся остальные ромашки, и людям будет казаться, что выпал снег... Бабушка, когда ты была молодой, люди не знали, что ромашка — маленькое солнце с белыми лучами. Но теперь они будут знать.

Дети помогли бабушке подняться с травы. Нос у нее был желтый от пыльцы цветка, а глаза светились. И всем троим показалось, что высоко в небе над кленом с красными листьями сияет солнце с белыми лучами и оно пахнет ромашкой.

## РУКА МАТЕРИ

Счастливы те, кому удалось дожить до этого дня — он не обделил счастьем ни одного человека. Правда, для некоторых это счастье было коротким, как глоток ключевой воды. Но счастье и не бывает затяжным.

Позднее этот день назовут Днем Победы, но тогда он еще не имел имени. 9 мая 1945 года.

Утром на батарею нагрянуло известие о конце войны, а после обеда пришел приказ привести орудия в походное положение и выехать на салют.

По улицам за орудиями бежали мальчишки и спрашивали нас:

— Вы из Берлина?

Мы отшучивались, но мальчишки продолжали думать по-своему, как им больше нравилось.

На плацу дивизия развернулась и орудия словно по команде «в одну шеренгу становись!» встали на одну линию и подняли стволы. Обычно разбросанные подобно хуторам, собравшись вместе, батареи выглядели внушительно и торжественно. Стволы зениток, как трубы гигантского органа, были устремлены в небо. И ждали взмаха дирижерской палочки.

— Как бы я хотел сегодня вечером очутиться на Красной площади! — неожиданно за моей спиной прозвучал голос комбата. — Но кто меня отпустит!

Я оглянулся — наши глаза встретились, и тут капитану пришла счастливая для меня мысль.

— Но кто меня отпустит с салюта, — повторил он. — А ты солдат. Тебя я могу отпустить своей властью. Давай! Топай! Будешь всю жизнь вспоминать меня.

Никогда еще люди не были так близки, так добры друг к другу, так неожиданно трогательны, как в этот день.

Так я очутился на Красной площади, где собралось множество людей, ожидающих салюта. В какой-то момент я оказался крепко сдавлен со всех сторон и почувствовал, что являюсь эпицентром небольшого стихийного содружества незнакомых людей. Они не заговаривали со мной, им просто нравилось, что среди них солдат, свой солдат с медалью на выгоревшей гимнастерке. А я, не зная, что в таких случаях делать, топтался на месте и бессмысленно улыбался.

И тут неожиданно громыхнул салют. Горячая волна орудийной вспышки выплеснулась в небо. Где-то близко сухо затрещали ракетницы, и высоко над землей распустились соцветия фейерверка.

В этот момент я почувствовал, как небольшая, горячая рука поверх манжета гимнастерки сжала мое запястье. И сквозь орудийный грохот салюта до моего слуха долетело слово, которого мне не хватало всю войну, всю жизнь:

— Сынок!.. Сынок!..

Я вздрогнул. Это был голос мамы, которая навсегда ушла из жизни в лечебном бараке блокадного Ленинграда.

Сила этого неповторимого праздничного дня была так велика, что мамин голос ожил... и рука наполнилась теплом.

Некоторое время я стоял в оцепенении, боясь пошевелиться. Может быть, мне показалось, послышалось?.. И сейчас все оборвется, ошибка откроется.

Но рука продолжала крепко сжимать мое запястье, словно удерживала меня, боялась, что я уйду. И голос — мамин голос! — повторял бесценное слово:

— Сынок!.. Сынок!..

Я хотел шевельнуться, скосить глаза, но в это время снова громыхнуло и новая вспышка обожгла небеса. Могучий залп сдавил грудь.

— Сынок!

Да, да! Это было мамино слово — пароль, открывающий ей доступ ко всем тайникам моей души.

Я почувствовал, как много должен сказать маме. Как много накопилось боли. И тогда шепотом, а может быть, про себя — не помню точно! — стал рассказывать. Я рассказывал ей про нашу шестую зенитную батарею, которая, как остров, одна-одинешенька стояла на танкоопасном направлении, про декабрьский день, когда между нами и гитлеровцами уже не оставалось ни одного нашего солдата. Рассказывал, как нас, обреченных, спасло наступление наших войск под Москвой. Как меня на телеге везли в госпиталь и я в бреду звал ее, да вот не дозволялся... Все, что накопилось за эти четыре года, выкладывал я невидимой маме. А она в ответ сильнее сжимала мою руку, словно все понимала, сочувствовала.

Может быть, боялась, что судьба повторится и снова оторвет меня от нее?

А может, просто держалась за мою окрепшую руку? Столько времени была без опоры и вот обрела, расслабилась и в ответ на мою исповедь сама стала рассказывать мне то, о чем не писала в письмах, чтобы не огорчать. О голоде, усталости, тоске.

Несколько раз у меня возникало желание отыскать ее глазами среди людей, тесно окружавших меня и поглощенных зрелищем салюта. Но каждый раз я сдерживался — боялся, что счастливая ошибка откроется и чудо моего свидания с мамой оборвется.

Я стоял неподвижно, только весь напрягся, чтобы не пропустить материнского зова. И оттого, что он продолжал звучать, все происходящее вокруг обретало для меня особый смысл.

Моя мама была бесконечно далеко и вместе с тем... стояла рядом. И в какой-то момент я не выдержал, отозвался на ее зов — из меня вырвалось многострадальное слово «мама».

Я крикнул на всю площадь и даже не узнал своего голоса, так давно не произносил слова «мама». Вокруг кричали, пели, отплясывали, и мой голос скорее всего затерялся в праздничном шуме. Но, может быть, державшая меня за руку услышала, и другие матери, которые пришли на салют, как на свидание с сыновьями, тоже услышали — и каждая приняла мой голос за голос своего сына.

Я кричал «Мама» и свободной рукой растирал по лицу слезы. А в небе расцветал фейерверк — это я дарил маме цветы, и они, увеличенные моей любовью, взлетали в небо, вырастали до огромных размеров, и все матери солдат, живых и мертвых, принимали их в подарок.

Салют кончился так же неожиданно, как и возник. В массе людей произошло движение. И я почувствовал, как материнская рука вдруг разжалась. Я тут же вышел из оцепенения и заметался. Я искал ту, которую принял за свою мать и которая, вероятно, приняла меня за своего сына. Наверное, было во мне какое-то сходство с ним. А может быть, в этот день все сыновья, вернувшиеся с войны, были похожи на тех, кто не вернулся. В радостном возбуждении сжала она мою руку и назвала сыном. И это не я, это ее погибший сын откликнулся, закричал на всю площадь: «Мама!»

Напрасно я метался по площади, заглядывал в лица, искал ту, которую нельзя было найти... так же как мою маму. Вероятно, меня принимали за безумного. А впрочем, в этот вечер все были немного безумными от счастья и горя, которые никогда еще не соседствовали так близко.

В конце концов я совсем выбился из сил, едва держался на ногах. И уже на набережной, куда меня вынес поток людей, перед глазами мелькнуло платье в белый горошек, и я лицом к лицу столкнулся с девушкой. У нее были светлые, а при свете фонарей золотистые волосы, вздернутый нос, прищуренные глаза.

— Вы кого-то потеряли, ищите? — спросила она.

В этот день знакомые запросто заговаривали друг с другом.

— Да вот, потерял, ищу,— отозвался я.

— Кого же?

— Маму... Я ее давно потерял, в сорок втором... в Ленинграде.

Я думал, она посмеется надо мной. Не посмеялась.

— Сегодня здесь многие ищут тех, кого уже никогда не найдешь,— тихо сказала она.

— Но она держала меня за руку, вот здесь.— Я показал, где она держала меня за руку, словно на манжете солдатской гимнастерки, как на легендарной плащанице, сохранился след ее руки.

Девушка кивнула, поверила. Я спросил:

— Как вас зовут?

— Нонна,— ответила девушка и почему-то добавила: — Пишется через два «н».

Дальше мы пошли вместе.

Этот день прошел, как проходит каждый последующий день. Никому не удалось удержать его. Но теперь, когда я воскрешаю его в своей памяти, то салют и фейерверк отступают на второй план. Я же слышу голос мамы, слышу ни с чем не сравнимое слово «сынок» и ощущаю на запястье руку, которую никто ни в какие времена не может заменить человеку,— руку матери.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ляля пуля . . . . .	3
Учитель . . . . .	23
Временный жилец . . . . .	27
Солнце с белыми лучами . . . . .	40
Рука матери . . . . .	43

**Юрий Яковлевич ЯКОВЛЕВ**

**ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ**

Редактор **М. М. Жигалова**

Технический редактор  
**О. Н. Ласточкина**

---

Сдано в набор 03.09.85. Подписано к печати  
28.10.85. А 00416. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ .  
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-  
изд. л. 3,12. Усл. кр.-отг. 2,28. Тираж 85 000  
экз. Изд. № 2893. Заказ № 1469.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской  
Революции типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865.  
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ**

● Сберегательные кассы принимают от граждан и трудовых коллективов добровольные взносы в Советский фонд Мира на сооружение в Москве памятника Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

● Прием добровольных взносов производится центральными сберегательными кассами, сберкассами первого и второго разрядов на основании заявлений граждан наличными деньгами или путем перечисления сумм со счетов по вкладам.

● Взносы могут быть произведены также и облигациями Государственных займов.

● Лицу вносящему добровольный взнос, сберегательная касса выдает квитанцию. При внесении средств в Советский фонд Мира сберегательная касса выдает гражданину также справку, которая высылается им по почте ответственному секретарю Комиссии Содействия Советскому фонду Мира, имеющейся в каждой союзной республике, а в РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Казахской ССР — в каждом областном, краевом и республиканском (АССР) центре.

● Коллективам или отдельным гражданам, которые внесли деньги на сооружение памятника Победы, Московской городской конторой Госбанка высылается свидетельство.

**Правление Гострудсберкасс СССР**